

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

И.М. Савельева, А.В. Полетаев

**СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ПРОШЛОМ: ТИПЫ
И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ**

Препринт WP6/2004/07

Серия WP6

Гуманитарные исследования ИГИТИ

Москва
ГУ ВШЭ
2004

УДК 316.74:001
ББК 60.56
С 12

Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом: типы и механизмы формирования. Препринт WP6/2004/07.— М.: ГУ ВШЭ, 2004. — 56 с.

Статья посвящена анализу теоретических аспектов исследования социальных представлений о прошлом с позиций социологии знания. Представления о прошлом на уровне обыденного сознания складываются по меньшей мере из двух компонентов. Во-первых, это знания, основанные на личном опыте действующего. Речь идет об образах прошлого, возникающих на базе прошлой жизни индивида и воспоминаний о ней, рутинных повседневных действий. Во-вторых, это различного рода «групповое прошлое», т.е. знание о прошлом социальных групп, членом которых является данный индивид.

Социальные представления о прошлом столь комплексны и разнообразны, что мы по необходимости вынуждены ограничиться обсуждением лишь двух ключевых тем. Одна из них — основные «типы прошлого», существенные для действующего субъекта: индивидуальное прошлое и различные виды «групповых» прошлых; другая — механизмы формирования обыденных представлений о прошлом, в том числе политические.

УДК 316.74:001
ББК 60.56

Savelieva I.M., Poletayev A.V. Social representations of the past: types and ways of forming ordinary knowledge. Working paper WP6/2004/07. — Moscow: State University — Higher School of Economics, 2004. — 56 p. (in Russian).

Given the importance of the sociological concept of «knowledge» for historical study, we shall focus on the theoretical analysis of the problem of ordinary knowledge about the past. Social representations of the past consist at least of two components. In the first place it is knowledge, based on personal experience, images of individual's previous life, recollections, everyday routine actions. In the next place it is the image of the past typical to different social groups, to which individual belongs.

Social beliefs about the past are so complex and diverse that in this paper we put first things first and concentrate on two key questions: definition and description of different types of the past, essential for the actor, including individual as well as sectional vision of the past and identification of some ways of forming ordinary knowledge of the past, including but not limited to political.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках проекта «Репрезентация прошлого как социоинтегративный фактор» (грант № 03-01-00016а)

Препринты ГУ ВШЭ размещаются на сайте:
<http://www.hse.ru/science/preprint/>

© Савельева И.М., 2004
© Полетаев А.В., 2004
© Оформление. ГУ ВШЭ, 2004

Представления о прошлом на уровне обыденного сознания тесно связаны с представлениями о настоящем и будущем, формирующими самоидентификацию субъекта в потоке времени. На философском уровне эта проблема обычно осмысливается в рамках темпоральной концепции, отражающей восприятие действующим «времяположения» настоящего в структуре прошлое—настоящее—будущее. Как отмечал К. Ясперс,

Прошлое содержится в нашей памяти лишь отрывками, будущее темно. Лишь настоящее могло бы быть озарено светом. Ведь мы полностью в нем. Однако именно оно оказывается непроницаемым, ибо ясным оно было бы лишь при полном знании прошлого, которое служит ему основой, и будущего, которое таит его в себе¹.

Социологи уделяют большое внимание роли обыденных представлений о прошлом в социальных взаимодействиях, тому влиянию, которое они оказывают на поведение действующих в обществе субъектов. Особенно важное место темпоральные идеи занимают в теории символического интеракционизма Дж. Мида (см., в частности, его работы «Природа прошлого», 1929; «Философия настоящего», 1930)². Представления о прошлом, настоящем и будущем играют значимую роль в процессе индивидуальных взаимодействий, в ходе которых происходит выработка и изменение социальных значений.

Анализ представлений о времени как фактора, обуславливающего целерациональное или целевое (purposive) поведение, получил дальнейшее развитие в исследованиях сторонников феноменологического подхода в социологии. Особенно интересна в этом плане работа А. Шюца «Смысловое строение социального мира» (1932), в которой он ввел разделение со-

¹ Ясперс К. Истоки истории и ее цель [1948] // Ясперс К. Смысл и назначение истории. Пер. с нем. М.: Политиздат, 1991. С. 141.

² Mead G.H. The Nature of the Past // Essays in Honor of John Dewey / Ed. by J. Coss. N.Y.: Henry Holt & Co., 1929. P. 235–242; Mead G.H. The Philosophy of the Present [1930] / Mead. G.H. The Philosophy of the Present. La Salle (Ill): Open Court, 1932. P. 1–90.

циального мира действующего субъекта на ближайшее социальное окружение, более широкое социальное окружение и предшествующий социальный мир³. С точки зрения нашего исследования особый интерес представляет глава «Понимание мира предшественников и проблема истории», где анализируется различие в осмыслении прошлого в рамках обыденных представлений и с точки зрения исторической науки⁴.

В последнее время о роли прошлого в процессе социальной коммуникации много размышляет А. Филиппов⁵.

Формирование обыденного знания о прошлом может рассматриваться также как проблема получения и усвоения информации. Строго говоря, практически вся информация, которой располагают индивиды, является информацией о прошлом — будь то сведения о зарождении жизни на Земле или самые свежие политические или биржевые новости. Связь знаний о прошлом с информацией выдвигает на первый план такие характеристики последней, как доступность, полнота и надежность. На практике информация, которой располагают действующие в обществе субъекты, в большинстве случаев является как раз неполной, несистематической и зачастую случайной, что не может не сказываться на принимаемых на основе этой информации решениях⁶.

Представляет интерес и вопрос о том, какую именно информацию используют действующие субъекты при принятии решений. При принятии решений на микроуровне, т.е. на уровне отдельных субъектов, временная глубина используемой информации обычно невелика и не превышает нескольких месяцев, реже — лет. Эта проблема подробно обсуждается, в частности, в моделях электорального поведения, большинство которых строится на предпосылке о «близорукости» или «короткой памяти» избирате-

³ Шюц А. Смысловое строение социального мира [1932] // Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 685—1022. Ч. IV.

⁴ Там же. С. 950—962.

⁵ Филиппов А.Ф. Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода // Феномен прошлого / Ред. И.М. Савельева. М.: ГУ ВШЭ, 2005.

⁶ Применительно к экономике эта проблема была впервые проанализирована в: *Стиглер Дж.* Экономическая теория информации [1961] // Теория фирмы / Сост. В.М. Гальперин. СПб.: Экономическая школа, 1995. С. 507—529. См. также, например: *Arrow K.J.* Limited Knowledge and Economic Analysis // *American Economic Review*. March 1974. V. 64. № 1. P. 1—10; *Arrow K.J.* The Future and the Present in Economic Life // *Economic Inquiry*. April 1978. V. 16. № 1. P. 157—169.

лей, принимающих решения в момент выборов⁷. В свою очередь на макроуровне, например при выработке государственной экономической политики, может учитываться достаточно давняя информация (например, об опыте реформ в Германии или Японии после Второй мировой войны, о создании Федеральной резервной системы в США в начале XX в., о развитии акционерных фирм и рынков ценных бумаг в XIX в. и т.д.). Но в любом случае «глубина» учитываемого прошлого оказывает существенное влияние на характер принимаемых решений.

Еще один аспект рассматриваемой проблемы связан с самим процессом принятия решений. Возможности человеческого мозга хотя и велики, но не безграничны, и, принимая решения на основе некоей информации, действующие субъекты далеко не всегда могут перебрать все возможные варианты и выбрать наиболее правильные из них. Эта проблема была подробно проанализирована в работах лауреата Нобелевской премии по экономике Г. Саймона, который предложил концепцию «ограниченной рациональности», позволяющую учесть лимиты человеческого мозга и несовершенство способностей действующих субъектов, принимающих решения⁸.

Опосредованное влияние прошлого на настоящее (точнее, на текущие действия субъектов), связанное с несовершенством информации и ограниченными возможностями мозга, отражается в наличии запаздываний (лагов) в общественной системе. Эта проблема, связанная с изучением скорости распространения сигналов или воздействий в социальной системе, также привлекает внимание многих исследователей, представляющих разные дисциплины.

Еще один важный аспект изучения темпоральных представлений как элемента социальной организации общества связан с категориями власти и контроля. Впервые эту проблему сформулировал М. Вебер в теории бюрократии: в частности, в работе «Хозяйство и общество» рассматриваются

⁷ *Nordhaus W.D.* The Political Business Cycle // *Review of Economic Studies*. 1975. V. 42. № 2. P. 169—190; *Nordhaus W.D.* Alternative Approaches to Political Business Cycle // *Brookings Papers on Economic Activity*. 1989. № 2. P. 75—92; *McRae D.* A Political Model of the Business Cycle // *Journal of Political Economy*. April 1977. V. 85. № 2. P. 239—263; *Tufte E.B.* Political Control of the Economy. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1978; *Kirchgassner G.* Rationality, Causality and the Relation Between Economic Conditions and the Popularity of Parties: An Empirical Investigation for the Federal Republic of Germany, 1971—1982 // *European Economic Review*. June—July 1985. V. 28. № 1/2. P. 243—268.

⁸ См., например: *Саймон Г.* Рациональность как процесс и продукт мышления [1978] // *THE-SIS*, 1993. Вып. 3. С. 16—38.

такие инструменты бюрократической власти и контроля, как сбор документов и информации о прошлом.

Существенно, что бюрократическая документация не только регистрирует прошлое, но и предписывает будущее, а контроль над информацией превращается в инструмент социального контроля и власти⁹. К сожалению, проблема контроля над информацией о прошлом, насколько нам известно, не получила серьезного освещения в научной литературе, но зато была блестяще описана в книге Дж. Оруэлла «1984»¹⁰.

Социальные представления о прошлом столь комплексны и разнообразны, что мы по необходимости вынуждены ограничиться обсуждением лишь двух ключевых тем. В первом разделе данной работы мы рассмотрим основные «типы прошлого», существенные для действующего субъекта: индивидуальное прошлое и различные виды «групповых» прошлых, а во втором — обсудим некоторые механизмы формирования обыденных представлений о прошлом, в том числе политические.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ГРУППОВОЕ ПРОШЛОЕ

Обыденное знание о прошлом складывается по меньшей мере из двух компонентов. Во-первых, это знания, основанные на *личном* опыте действующего. Речь идет об образах прошлого, возникающих на базе прошлой жизни индивида и воспоминаний о ней, рутинных повседневных действий. Во-вторых, это различного рода «групповое прошлое», т.е. знание о прошлом социальных групп, членом которых является данный индивид.

К числу первичных (и древнейших) групп прежде всего относятся семья, в рамках которой знания о прошлом формируются на основе семейной (родовой) истории, семейных традиций, текущего статуса семьи или рода, к которому принадлежит действующий субъект. Представления, возникающие в результате индивидуального и семейного опыта действующего, являются древнейшими видами темпоральных представлений. Именно они в наибольшей степени соответствуют шюцевскому обыденному знанию (*common-sense knowledge*), поскольку возникают в процессе повседневного взаимодействия, в том числе интеракций «лицом к лицу».

⁹ Weber M. *Economy and Society*. Vol. 2. Berkeley: University of California Press, 1978 [Germ. ed. 1921]. P. 86–94; см. также: Гудденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации. Пер. с англ. М.: Академический проект, 2003 [1984] С. 360–361.

¹⁰ Оруэлл Дж. 1984. Пер. с англ. М.: ДЭМ, 1989 [1949].

Древнейшими социальными группами являются также различного рода этнические и локально-территориальные сообщества. На их основе формируются более сложные вторичные группы, вплоть до современных наций. Наконец, по мере дифференциации обществ постепенно образуются профессиональные, статусно-сословные, религиозные, а затем и партийно-политические группы, принадлежность к которым также оказывает влияние на представления о прошлом членов этих групп.

Индивидуальное прошлое

Основой индивидуальных темпоральных представлений и обыденного знания о прошлом является собственный опыт действующего субъекта. Можно высказать гипотезу, что для аграрного (доиндустриального) общества, каким являлась средиземноморско-европейская цивилизация в течение нескольких тысячелетий, решающим фактором формирования эмпирических темпоральных представлений была рутинизированность человеческой деятельности, обусловленная природными явлениями. Как известно, тема рутинизации занимает важное место в современной социологической теории¹¹. Но эти исследования ориентированы в первую очередь на проблемы современного индустриального общества, в котором именно социальное время — будь то на уровне индивидуального восприятия или существующих групповых представлений — оказывается фактором рутинизации социальных действий и интеракций.

В нашем случае речь идет об обратной связи: рутинизация человеческой деятельности, обусловленная зависимостью от природных факторов, ведет к формированию специфических темпоральных представлений в доиндустриальном обществе. Жизнь подавляющего числа людей в таком социуме полностью подчинена природному ритму. Цикличность и повторяемость природных явлений — смены дня и ночи и сезонов года — здесь неотделима от цикличности и повторяемости действий каждого человека. Одни и те же действия производятся изо дня в день, из года в год, и этот

¹¹ См., например: Kolaja J. *Social System and Time and Space: An Introduction to the Theory of Recurrent Behavior*. Westport (CT): Greenwood, 1969; Goffman E. *Interaction Ritual*. L.: Allen Lane, 1972; Hagerstrand T. *Space, Time and Human Conditions // Dynamic Allocation of Urban Space* / Ed. by A. Karlqvist. Farnborough: Saxon House, 1975. P. 17–46; Zerubavel E. *Hidden Rhythms: Schedules and Calendar in Social Life*. Chicago: Chicago University Press, 1981; Гудденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации. Пер. с англ. М.: Академический проект, 2003 [1984].

опыт неизбежно формирует устойчивую картину будущего, которое мыслится как повторение прошлого.

Такая повторяемость была характерна не только для трудовой деятельности, но и для праздников — в аграрном обществе почти все они имели сезонный характер и отмечались из года в год. Экстраординарные события в жизни индивида были немногочисленны и также, в некотором смысле, однотипны: нашествия завоевателей, грабежи, пожары, болезни — список весьма невелик. Скорее всего эти события также рутинизировались в сознании. А отсутствие пространственной и социальной мобильности еще больше закрепляло однородную картину прошлого—настоящего—будущего, формировавшуюся на основе индивидуального опыта.

Конечно, все сказанное относится прежде всего к массовому сознанию населения, занятого сельским трудом. У знати, воинов, купцов и т.д. темпоральные представления, основанные на личном опыте, могли быть гораздо более индивидуализированными и причудливыми.

С позиций сегодняшнего дня кажется, что существенные изменения в эмпирическом восприятии прошлого, настоящего и будущего начали происходить всего пару столетий назад. Конечно, не исключено, что это предположение ложно, и в более отдаленные эпохи наблюдались не менее значительные сдвиги в темпоральном сознании. Однако нынешнее состояние исследований вынуждает нас принять гипотезу об относительном постоянстве обыденных представлений о прошлом вплоть до Нового времени.

В частности, есть основания утверждать, что для темпорального сознания людей Нового времени характерно усиление интереса к своему личному прошлому и систематизация воспоминаний о нем. Главную роль здесь, естественно, играл рост грамотности, ее постепенное распространение среди все более широких слоев населения. Уже начиная с XV в., сначала в Италии, а затем и во Франции, Англии, Германии и других европейских странах ширится практика ведения ежедневных записей, дневников, составления собственных жизнеописаний, мемуаров и других видов письменной фиксации происходящих в жизни индивида событий¹². Но переломным, по-видимому, был все же XIX в., когда школьное образование приобрело массовый характер и грамотность стала достоянием основной части населения.

¹² Дэвис Н. З. Духи предков, родственники и потомки: некоторые черты семейной жизни во Франции начала нового времени [1977] // THESIS, 1994. Вып. 6. С. 216; там же см. библиографию.

Повышение уровня знаний о собственном прошлом не означало, конечно, утрату человеческой памятью своего качественного, избирательно-го, характера — по-прежнему человек запоминает прежде всего эмоционально значимые лично для него события. Но постепенное увеличение количества документов, хранящихся в домашних архивах (различного рода дипломов, грамот, справок, свидетельств о рождении, браке и т.д.), все большее распространение анкет, автобиографий, curriculum vitae и проч., начавшееся в XIX в. и достигшее апогея в наши дни, — все это, несомненно, способствовало созданию более структурированной и равномерно заполненной картины прошлого на индивидуальном эмпирическом уровне.

Огромную роль в изменении обыденных знаний о прошлом сыграло изобретение всякого рода звуко- и видеозаписывающих устройств — от фонографа и фотоаппарата до магнитофона и видеокамеры, которые постепенно входили в массовый обиход. Человек впервые научился хотя бы частично останавливать «прекрасные мгновения» своей жизни и воспроизводить их бесконечное число раз, а тем самым отчасти переноситься в прошлое.

В XX в. прошлое каждого человека стало также объектом интереса со стороны общества, причем не только в тоталитарных, но и в демократических государствах. Конечно, интерес к чужому прошлому существовал и в предшествующие исторические эпохи, но в большинстве случаев общество не превращало предоставление сведений об индивидуальном прошлом в непрременную обязанность каждого своего члена. Точно так же и хранителем сведений о личном прошлом был в большинстве случаев сам индивид. Ныне же сбором данных о каждом человеке занимается огромное число различных частных и государственных учреждений — от банков до полиции и налоговой службы.

Типичная примета новейшего времени — биографические справочники типа «кто есть кто». Публичное распространение сведений о прошлом того или иного индивида во многих случаях поощряется им самим и выступает в качестве статусного показателя. Если раньше прижизненных биографий удостоивались лишь царствующие особы, то с наступлением Нового времени этот процесс начинает постепенно демократизироваться, а с конца XIX — начала XX в. он приобретает по-настоящему массовый характер.

Наконец, индивидуальное прошлое стало определять индивидуальное будущее. Последующая жизнь человека зависит от его предыдущей жизни — его поступков, образования, работы и т.д. Это проявляется на

уровне как внутреннего индивидуального сознания, так и сознания общественного. В частности, одной из примет Нового времени явилось быстрое увеличение доли лиц наемного труда. Прошлое каждого вновь нанимаемого работника стало объектом интереса со стороны нанимателя; в результате, скажем, при найме слуг стали требоваться рекомендательные письма, характеризующие их прошлую деятельность. В этом смысле функция рекомендательных писем, известных с древнейших времен, претерпела существенные изменения: если до начала Нового времени они служили чем-то вроде удостоверения личности, т.е. удостоверяли текущее положение человека, то при развитии пространственной и социальной мобильности они все чаще удостоверяют его прошлое.

Повышенное внимание к истории жизни индивида со стороны общества несомненно повлияло и на его представления о собственном прошлом. Теперь он гораздо лучше, чем это было в предшествующие эпохи, помнит события своей жизни и старается по возможности контролировать информацию, поступающую в распоряжение общества. Любой индивид стремится сделать общественным достоянием благоприятную для себя информацию и скрыть неблагоприятную. Ясно, что это выполнимо только при должном внимании к своему прошлому.

В последней трети XX в. формирование представлений о прошлом на основе личного опыта стало объектом пристального внимания со стороны психологов, которые до этого занимались в основном общими проблемами когнитивных процессов и памяти в целом.

В частности, канадский психолог Э. Тульвинг в 1970-е гг. предложил деление долговременной памяти на процедурную, эпизодическую и семантическую¹³. Процедурная память — низшая форма памяти, в которой хранятся связи между стимулами и ответными реакциями (рефлексы, навыки). Эпизодическая память содержит информацию о событиях, разворачивающихся во времени, и о связях между этими событиями; последние всегда автобиографичны. Семантическая память — систематизированное знание субъекта о словах и других языковых символах, их значениях, о том, к чему они относятся, о взаимоотношении между ними, о правилах, формулах и алгоритмах манипулирования этими символами, понятиями и отношениями.

¹³ Первая из его многочисленных работ на эту тему вышла в 1972 г.; см.: *Tulving E. Episodic and Semantic Memory // Organization of Memory / Ed. by E. Tulving, W. Donaldson. N.Y.: Academic Press, 1972. P. 381–403.*

В 1976 г. Д. Робинсон ввел аналогичное «эпизодической памяти» Тульвинга понятие автобиографической памяти, которая представляет собой ментальные репрезентации сцен, категорий и проч., имеющих личное отношение к индивиду. Проблема автобиографической (эпизодической) памяти также привлекает в последнее время внимание специалистов в области социальной психологии.

Речь идет, в частности, о таком феномене, как «историзация» или социализация автобиографической памяти. «Историзация» индивидуальной памяти (воспоминаний) наблюдается в двух формах: во-первых, придание индивидом социальной значимости автобиографическим событиям своей жизни; во-вторых, увязывание индивидуальной автобиографии с социально значимыми («историческими») событиями, вплоть до придумывания своего якобы участия в них (например, участие в переноске бревна вместе с Лениным на субботнике или в защите Белого дома в августе 1991 г.).

В результате по отношению к социально значимому («историческому») событию субъект начинает выступать как Участник, Свидетель, Современник и Наследник (именно так, с прописной буквы)¹⁴, а его автобиографическая память превращается в «историческую память». Как считает немецкий историк Й. Рюзен,

историческая память выступает, с одной стороны, как ментальная способность субъектов сохранять воспоминания о пережитом опыте, который является необходимой основой для выработки исторического сознания... С другой — как результат определенных смыслообразующих операций по упорядочиванию воспоминаний, осуществляемых в ходе оформления исторического сознания путем осмысления пережитого опыта...¹⁵

Отсюда возникают распространенные в последние десятилетия претензии отдельных групп участников (реальных или мнимых) тех или иных исторических событий на то, что именно их воспоминания дают «правильную» картину этих событий, вплоть до активных протестов и попыток запрета иных, в том числе научных и художественных, описаний и трактовок происходившего.

¹⁴ *Нуркова В.В. Историческое событие как факт автобиографической памяти // Воображаемое прошлое Америки. История как культурный конструкт. М.: МАКС-Пресс, 2001. С. 22–23; подробнее об автобиографической памяти в целом см.: Нуркова В.В. Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти личности. М.: УРАО, 2000.*

¹⁵ *Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) [1999] // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2001. Вып. 7. С. 9.*

Семейное прошлое

Семья, естественно, является одной из разновидностей социальных групп, однако в силу важности семейного прошлого для обыденного знания мы выделим эту линию исследований в качестве самостоятельной темы, а уже затем рассмотрим некоторые общие характеристики формирования представлений о групповом прошлом в целом.

Сведения о семейном прошлом в дописьменных культурах, по-видимому, играли ведущую роль в содержании темпоральных представлений, будучи едва ли не единственным источником информации о событиях, выходящих за пределы индивидуальной человеческой памяти. Семейная устная традиция удерживала относительно достоверную историю как минимум трех-четырех поколений, т.е. охватывала не менее ста лет. Более отдаленное прошлое, естественно, терялось во мраке и обрастало легендами, но и сто лет — весьма приличный срок для истории. Конечно, хронологическая канва семейной истории оставалась очень приблизительной (известно, что еще в Средние века большинство людей не знали, в каком году они родились и сколько им лет), но тем не менее разделение далекого и близкого прошлого, равно как и прошлого и настоящего, было довольно четким в пределах нескольких десятилетий.

Семейная история выполняла функцию накопления и передачи информации, знаний и опыта от поколения к поколению. В дописьменных культурах семейное прошлое и память о нем непосредственно влияли на настоящее и будущее членов рода или семьи — повышая уровень знаний, они обеспечивали адаптацию к внешней среде, облегчали условия существования и способствовали развитию общества.

В примитивных культурах одной из главных функций представлений о семейном прошлом было поддержание знаний о системе родства, прежде всего по социальным причинам, в том числе для предотвращения инцестов¹⁶. Родственные связи играли определенную роль и при регулировании простейших правовых отношений. Например, у варварских племен родство учитывалось при получении вергельда за убитого, при уплате выкупа за невесту, при участии в коллективной помощи родне и т.д.

В архаичных культурах представления о семейном прошлом были тесно связаны также с культом предков. Этот культ, присущий практически всем народам, расширял семейную группу за счет предшествующих, физи-

¹⁶ См.: Мёрдок Дж. П. Социальная структура. Пер. с англ. М.: ОГИ, 2003 [1949].

чески умерших, поколений. Умершие предки не уходили из сознания живущих — им не только поклонялись, но с ними советовались, апеллировали к их авторитету, их призывали в свидетели и т.д. Короче говоря, умершие существовали в сознании столь же реально, как и живущие члены семьи. Например, характеризуя темпоральные представления германско-скандинавских варварских племен, А. Гуревич пишет:

Культе предков, игравший огромную роль в жизни варваров, был связан с их отношением к времени. Предок мог вновь как бы родиться в одном из своих потомков, — в пределах рода передавались имена, а вместе с ними и внутренние качества их носителей. Прошлое возобновлялось, персонифицировалось в человеке, который повторял характер и поступки предка¹⁷.

Эти примитивные мифические представления в полной мере восприняла христианская католическая церковь, которая отстаивала идею корпоративной целостности умерших и живущих¹⁸. Как отмечает Н. Дэвис,

Месса, искусство и благочестивые обычаи в сочетании с народными верованиями в привидения делали умерших разновидностью «возрастной группы» наряду с детьми, молодежью, семейными людьми и стариками¹⁹.

Серьезные изменения в культе предков произошли только в XVI — XVII вв. В этот период по-новому осмысливаются отношения между живущими и умершими, т.е. направление развития семейных судеб в историческом времени. Кардинальную роль в такой трансформации сыграло появление протестантских церквей, которые объявляли все формы связей между душами умерших и живущих невозможными. Таким образом, мертвые как возрастная группа были удалены из протестантского общества, и темпоральные представления, базирующиеся на цикле жизни, стали ограничиваться лишь земным бытием.

В слабо дифференцированных обществах семейное прошлое в значительной мере сливалось с этноплеменным и локально-территориальным. Однако, как показал Б. Малиновский, даже в простейших сообществах выделяется некое семейное или родовое прошлое. Например, в рассказах

¹⁷ Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры [1972] // Гуревич А.Я. Избранные труды. В 2-х т. СПб.: Университетская книга, 1999. Т. 2. С. 91–92.

¹⁸ См. также: Арнаутова Ю.Е. *Memoria*: «тотальный социальный феномен» и объект исследования // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени / Ред. Л. П. Репина. М.: Круть, 2003. С. 19–37.

¹⁹ Дэвис Н.З. Духи предков, родственники и потомки: некоторые черты семейной жизни во Франции начала нового времени [1977] // THESIS, 1994. Вып. 6. С. 209.

туземцев Тробрианских островов различим особый класс нарративов, отличающихся от сказок и мифов, который условно можно обозначить как легенды (на местном наречии — *либвогво*) и которые местные жители считают правдой, в отличие от сказок.

Все они посвящены предметам, имеющим практический интерес для туземцев: рассказывают о хозяйственных занятиях, войнах, путешествиях, ритуальном обмене, выдающихся танцорах и т.п. Кроме того, поскольку чаще всего в них говорится о чьих-то выдающихся достижениях или подвигах, постольку они способствуют росту престижа рассказчиков: ведь они вспоминают либо случаи из своей жизни, либо события из жизни своих предков и родственников — прославляя их, они прославляют свой род. В частности поэтому хранятся в памяти и передаются из поколения в поколение такие рассказы. В *либвогво*... события помещены в знакомый социальный контекст: указывается клан или семья, представители которых были участниками этих событий²⁰.

Таким образом, уже в простейших обществах семейное прошлое начинает выступать в качестве основы для социальной дифференциации. Появляются первые наследственные династии, специализирующиеся на том или ином виде занятий. Постепенно возникает и статусно-сословная дифференциация, важным элементом которой является некое особое семейное прошлое членов данной группы. В обществах же с более высоким уровнем дифференциации родовая история начинает играть уже доминирующую роль в определении социального статуса и функций индивида — его свободы или несвободы, гражданского полноправия, имущественного положения, рода занятий и т.д.

В свою очередь развитие письменности привело к появлению «списков» родословных. Они существовали уже в Древнем Египте, Месопотамии, Иудее, Греции, Риме и т.д.²¹, хотя в каждом регионе их создание имело свои особенности. Так, в Греции списки родословных всегда восходили к мифическому герою, в Риме же *pater familias* чаще всего являлся исторической личностью. Конечно, писанные родословные и семейные хроники имелись лишь у ограниченного круга семей, принадлежавших к царствующим

²⁰ Малиновский Б. Миф в примитивной психологии [1926] // Малиновский Б. Магия, наука, религия. Пер. с англ. М.: Рефл-бук, 1998. С. 103.

²¹ Например, в известном рассказе Геродота о пребывании Гекатея Милетского в Египте говорится, что египетские жрецы смогли назвать ему 345 колен своих предшественников (Геродот. История II, 143). Первые исторические работы греческих логографов в VI–V вв. до н. э., в частности, упомянутого Гекатея Милетского (ок. 546–480 до н. э.), по существу также представляли собой генеалогические исследования и отражали «семейное» восприятие прошлого.

щим домам или узкому слою высшей знати, но само существование родословных и степень их распространенности в этом слое достаточно симптоматичны.

Особое значение семейное прошлое приобрело в Европе периода позднего Средневековья, когда сословность превратилась в доминирующую характеристику социального устройства, стержнем которого был

принцип наследственности, передачи социального и имущественного статуса, собственности, власти и других общественно-политических функций, прав и привилегий каждой социальной группы... Происхождение, кровь родителей или одного из них изначально определяли дальнейшую судьбу индивидуума... Статус, взаимные права и обязанности, общественные функции передавались по наследству из поколения в поколение. Свобода, участие в политической власти, управлении и военном деле превратились со временем в наследственные привилегии²².

Происхождение и семейное прошлое были определяющими как в сословном устройстве общества, так и внутри каждого сословия. Дворянство делилось по степени знатности и древности рода — от верховных правителей, царствующих семей и родовитой аристократии до рядового дворянства. Это структурирование шло как по линии формальных дворянских титулов (от королей и герцогов до виконтов и баронов), так и по степени древности рода. Неудивительно, что родословные всех королевских фамилий, составлявшие их придворными, начинались или с библейских персонажей или, в крайнем случае, с Александра Македонского. В этом, в частности, проявлялось отличие от более примитивных обществ, в которых каждый род традиционно вел происхождение от богов: в Средние века божественное (т.е. древнейшее) происхождение стало привилегией царствующих семейств.

Внутрисословная стратификация была характерна не только для дворянства, но для всех слоев феодального общества.

Духовенство охраняло свои привилегии и наследственный статус не менее ревностно, чем дворянство (высокие и прибыльные церковные должности зачастую замещались членами одних и тех же семейств, кланов, потомков которых готовили к духовной карьере)... «Генеалогический фактор» играл важную роль и в жизни городского сословия, особенно его верхушки — патрициата, власть которого приобрела характер наследственной... В среде средневекового купечества

²² Дмитриева О.В. Генеалогия // Ведение в специальные исторические дисциплины. М: Изд-во Московского ун-та, 1990. С. 6–7.

ва и ремесленничества... благородство происхождения определялось статусом свободного человека, членством в цехе или гильдии, размерами состояния. Не чуждо было понятие благородства и средневековому крестьянству, для которого критериями были имущественный и социальный статус, авторитет в общине, наследственное отправление должностей в общинном управлении и т.д.²³

Семейное прошлое каждого человека едва ли не полностью определяло всю его жизнь уже при рождении — род занятий, достаток, брачный круг, а то и конкретный супруга.

Принципиальные изменения в темпоральных представлениях, образующихся на основе семейной истории, начали происходить лишь в эпоху Возрождения. С одной стороны, постепенно теряла устойчивость сословная структура общества, возрастала социальная мобильность. С другой —

время семьи утверждалось не с помощью легенд или автоматического копирования каждым поколением жизни предыдущего в соответствии со старинными законами преемственности, а как результат сознательных усилий, предпринимаемых одним поколением ради другого²⁴.

Но сословная структура общества сохранялась еще очень долго. Пример — история России, где сословия фактически существовали до распада СССР (вспомните графу «социальное происхождение», которую все заполняли при приеме на работу). Но даже при формальной ликвидации сословий семейное прошлое продолжает оказывать колоссальное воздействие на жизнь большинства людей. История семьи, уровень достатка, занимаемое ею положение в обществе, фамильные традиции и проч. влияют на человека с момента рождения, и как правило это влияние сохраняется в течение всей его жизни. Тем самым прошлое семьи продолжает воздействовать и на представления индивида о настоящем и будущем: по-прежнему едва ли не каждый сравнивает свой социальный и имущественный статус со статусом предков, равно как и планирование будущего большинством людей осуществляется хотя бы под некоторым влиянием старших членов семьи с учетом семейных традиций.

«Время семьи» в XIX–XX вв. видоизменялось под влиянием нескольких разнонаправленных тенденций. С одной стороны, роль семейного прошлого в формировании темпоральных представлений индивида умень-

²³ Дмитриева О.В. Генеалогия // Введение в специальные исторические дисциплины. М: Изд-во Московского ун-та, 1990. С. 7–8.

²⁴ Дэвис Н.З. Духи предков, родственники и потомки: некоторые черты семейной жизни во Франции начала нового времени [1977] // THESIS, 1994. Вып. 6. С. 217.

шалась. С распространением грамотности, а затем и всеобщего образования, постепенно сходит на нет значение семейной истории как источника информации о прошлом в целом — эту функцию начинают выполнять учебники, музеи, исторические романы, кинофильмы и т.д. Ликвидация сословий и увеличение социальной мобильности в западных обществах уменьшили влияние семейного прошлого на судьбу человека и его жизненные планы. Доминирование городской культуры и дальнейшая нуклеаризация семей также содействовали ослаблению семейных связей, а следовательно, и уменьшению роли семейного прошлого.

С другой стороны, распространение грамотности и технических средств аудио- и видеозаписи способствовало развитию семейной истории, которая ныне фиксируется не в устных преданиях, а в виде документов, писем, фотографий, видеофильмов. Как правило, большинство современных семей располагает относительно документированной историей двух-трех, а то и более поколений. Это характерно даже для России, где семейное прошлое было в значительной мере подавлено в советский период. Сохраняется, как отмечалось выше, и влияние семейного прошлого на жизнь человека, а тем самым и на его представления о своем настоящем и будущем.

Групповое прошлое

Наряду с индивидуальным опытом, обыденные представления о прошлом существенно связаны с групповой историей, т.е. общим прошлым, значимым для членов тех или иных социальных групп.

Понятие социальной группы одним из первых начал разрабатывать американский социолог и социальный психолог Ч. Кули; в частности, в работе «Социальная организация» (1909) он разделил социальные группы на первичные и вторичные²⁵. Другой американский социолог и социальный психолог, Э. Мэйо («Человеческие проблемы индустриальной цивилизации», 1933), ввел разделение социальных групп на формальные и неформальные.

²⁵ Cooley Ch.H. Social Organization: A Study of the Larger Mind. N.Y.: Charles Scribner's Sons, 1909. «Первичными» Кули обозначал небольшие группы, складывающиеся в ходе непосредственного взаимодействия индивидов. Они имеют собственные нормы поведения и отличаются солидарностью. К этой категории можно отнести семью, группы друзей, многие рабочие группы. «Вторичные» группы больше по размерам, и их члены не взаимодействуют друг с другом непосредственно.

мальные²⁶. Затем еще один американский социальный психолог, Г. Хаймен («Психология статуса», 1942), разработал понятие референтных групп, т.е. сообществ, значимых для человека, с которыми он соотносит себя как с эталоном, и на нормы, ценности, мнения и оценки которых он ориентируется²⁷. Вслед за этим М. Шериф («Очерк социальной психологии», 1948) разделил социальные группы на два вида: группы членства, членом которых индивид является, и нечленские, или референтные, в которых индивид не состоит, но с ценностями и нормами которых соотносит свои взгляды и поведение²⁸.

Наконец, упомянем еще одно определение социальной группы, одно из наиболее жестких. Речь идет об определении, данном М. Шелером, который полагал, что «“группу” образует... *знание* — хотя бы еще и самое смутное — об ее существовании, а также о сообща признаваемых *ценностях и целях*»²⁹.

Понятно, что количество разных типов социальных групп необычайно велико. Прежде всего это различные этнические, локально-территориальные, статусно-сословные, профессиональные, религиозные, партийно-политические группы и т.д., вплоть до популярных в последнее время гендерных групп. Не пытаясь охватить все это многообразие в рамках нашего исследования, отметим лишь некоторые существенные концептуальные моменты.

Во-первых, анализируя групповое прошлое, необходимо отличать *представления о групповом прошлом* от *групповых представлений о прошлом*. Под групповым прошлым мы имеем в виду некие события или социальные действия, в которых принимали участие члены данной группы, нынешние или позиционируемые ныне в качестве таковых в прошлом. Сюда же относятся события или действия, прямо влиявшие на положение группы и ее членов (нынешних и прошлых), т.е. непосредственно значимые

²⁶ Mayo E. The Human Problems of an Industrial Civilization. N.Y.: Macmillan, 1933.

²⁷ Human H. The Psychology of Status. N.Y.: Columbia University Press, 1942.

²⁸ Sherif M. An Outline of Social Psychology. N.Y.: Harper, 1948. Позднее другие исследователи (Р. Мёртон, Т. Ньюком) распространили понятие референтной группы на все объединения, которые являются для индивида эталоном при оценке им собственного социального положения, действий, взглядов и т.д., независимо от формального членства (см.: Мёртон 1996 [1949/1957/1968], гл. 10). Референтная группа может быть не только реальной (например, компания во дворе или близкие друзья), но и условной (воображаемой) (интеллигенция, бизнесмены).

²⁹ Шелер М. Социология знания [1926] // Теоретическая социология: Антология / Сост. С.П. Баньковская. В 2-х ч. М.: Университет, 2002. Ч. 1. С. 350.

для данной группы и ее интересов. Помимо этого, члены каждой группы имеют некое свое, специфическое представление и о прошлом в целом.

Во-вторых, знание о групповом прошлом, равно как и групповые представления о прошлом в целом, нельзя отождествлять с обыденным знанием членов группы. Прошлое любой группы или группового институционального образования, от племени, местной общины или фирмы до наций и государств, изначально конструируют эксперты, специализирующиеся в такого рода деятельности (в данном случае мы не обсуждаем вопрос о качестве экспертных знаний, а лишь подчеркиваем факт разделения труда и специализации). И лишь затем это экспертное знание в той или иной мере воспринимается и усваивается остальными членами группы, превращаясь в обыденное знание о прошлом. Механизмы этого процесса весьма подробно исследованы в современной социальной психологии (см. следующий раздел).

В-третьих, групповое прошлое (прошлое нынешних и бывших членов группы) является важным элементом групповой идентификации. Прежде всего, это относится к этнотерриториальным общностям. Как показано в многочисленных этнографических исследованиях, мифические предки, история происхождения и другие компоненты прошлого являются важнейшей основой племенной идентификации, определяя различия в тотемах, ритуалах и т.д. Одновременно возникает и обратное явление — групповая (племенная) самоидентификация влияет на отношение к «своему» и «чужому» прошлому в рамках межгрупповых отношений. Например, как отмечает В. Топоров, уже

в первых образцах «исторической» прозы (хотя бы в условном понимании этой историчности) «историческими» признаются только «свои» предания, а предания соседнего племени квалифицируются как лежащие в мифологическом времени и, следовательно, как мифология³⁰.

По мере развития и усложнения обществ из первичной этнотерриториальной групповой идентификации развиваются два относительно самостоятельных, но достаточно тесно связанных между собой вида групп и соответствующих типов прошлого: этнокультурные и локально-территориальные.

Роль прошлого в этнической идентификации акцентируется многими современными авторами. Например, известный американский этнопсихо-

³⁰ Мифы народов мира. Энциклопедия / Ред. С.А. Токарев. В 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 572.

лог Дж. Де Вос вообще рассматривает этническую идентичность как форму идентичности, воплощенную в культурной традиции и обращенную в прошлое в отличие от других форм групповой идентичности, ориентированных на настоящее и будущее³¹. Эту же мысль, пусть в более мягкой форме, проводят и многие российские исследователи: так, Г. Солдатова подчеркивает, что главная опора этнической идентичности — «идея или миф об общих культуре, происхождении, истории»³²; Л. Дробижева отмечает, что «в современных условиях унификации этнических культур наряду с неуклонным сокращением этнодифференцирующих признаков возрастает роль общности исторической судьбы как символа единства народа»³³. Эти тезисы подтверждаются и результатами исследований В. Шнирельмана³⁴.

Точно так же знание о прошлом своего места обитания (области, города или деревни) обеспечивает фундамент для идентификации жителей соответствующей местности³⁵. Местная история достаточно компактна, понятна, наглядна, укоренена в семейном прошлом и ее можно «вспоминать» и репрезентировать в интерьерах повседневного существования. Например, в Англии, как отмечает Л. Репина,

соединение непреходящей популярности истории семьи, родной деревни, прихода, города у многочисленных энтузиастов-непрофессионалов — с развернутым историками-социалистами широким движением за включение любительского краеведения в контекст большой «народной истории» сделало «социальную историю снизу» важным элементом массового исторического сознания³⁶.

Наконец, прошлое выступает одним из ключевых параметров национальной идентификации, которая складывается в XIX в. из двух базовых

³¹ Цит. по: Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Академический проект, 1999. С. 211.

³² Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998. С. 48.

³³ Дробижева Л.М. Этническое самосознание русских в современных условиях: идеология и практика // Советская этнография, 1991. № 1. С. 7.

³⁴ Шнирельман В.А. Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика // Теоретические проблемы исторических исследований. Вып. 2. 1999. С. 118–147.

³⁵ Д. Бурстин пишет, что выражение «моя страна» (my country) долго означало в Америке «мою колонию» или «мой штат», пока не приобрело иное значение. Даже в начале XIX в. для Джона Адамса оно все еще означало Массачусетс, а для Джефферсона — Виргинию (Бурстин Д. Американцы. В 3-х т. Т. 2: Национальный опыт [1972]. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1993. Т. 2. С. 458).

³⁶ Репина Л.П. Парадигмы социальной истории в исторической науке XX столетия // XX век: Методологические проблемы исторического познания / Ред. А.Л. Ястребицкая. В 2-х ч. М.: ИНИОН РАН, 2001. Ч. 1. С. 83.

компонентов — этнокультурного и территориально-государственного, «смешивающихся» между собой в разных пропорциях.

В дифференцированных обществах прошлое начинает выступать в качестве важного фактора идентификации не только этнотерриториальных, но и других социальных групп. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты исследований немецких медиевистов, посвященных средневековому феномену *memoria*, который в узком смысле обозначает память об умерших, их литургическое поминовение (см. Вставку 1).

Вставка 1. Группообразующие функции *memoria*

«Прежде всего в сферу внимания историков попадает монашеская община как наиболее характерный пример “сообщества вспоминающих”... С одной стороны, регулярное литургическое поминовение <умерших монахов> вновь и вновь актуализировало их принадлежность к группе, с другой, участвуя в ритуале поминовения, поминающие сами ощущали себя как группу...»

Групповая *memoria* имела место не только в стенах монастырей. Для самых разных социальных групп мирян она была существенной составляющей повседневной жизни, более того, именно *memoria* как феномен коллективный становилась консолидирующим моментом для образования этих групп и условием самоидентификации их членов. Память об умерших членах очень важна для ощущения своей принадлежности к группе, поскольку свидетельствует о давности ее существования во времени, является частью ее истории и традиции, сопричастными которой ощущают себя все ее члены... Участвуя в составляющих *memoria* ритуалах, поминающие таким образом манифестировали себя как группу.

Конституирующую группу функцию *memoria* перенимает на себя, например, в королевских или аристократических родах, хранящих память о великих предках, об их победах, славе, чести. Здесь она является еще и важным политическим моментом, легитимирующим властные претензии потомков: без длинной родословной нет аристократии как таковой, от давности традиции зависит “качество” рода. Свообразный “альянс” между благородным происхождением и властью основывается на *memoria* во всех ее проявлениях — от написания биографии предков или истории “дома”, до фамильных портретов и монументальных памятников, украшающих родовые некрополи.

В социальных группах, не принадлежащих к ведущим — политическим или духовным — слоям, в группах, членами которых были крестьяне, ремесленники, торговцы, словом, люди, объединенные на основе общности рода занятий, роль “великого предка”, давшего начало истории группы, часто заменял святой-патрон... К нему же возводился изначальный этап истории группы, сво-

ей персоной он сакрализировал ее существование и узаконивал ее место в божественном миропорядке, перенимая на себя роль не только небесного покровителя группы, но и объекта сословной, профессиональной самоидентификации ее членов. Особенно это касалось тех святых, которые, согласно их житию, при жизни занимались тем же ремеслом, что и их почитатели. Так, св. Козьма и Дамиан обычно становились патронами гильдий лекарей, св. Венделин, пасший стадо в Вогезских горах — патроном скотоводов-гуртовщиков, св. апостол Андрей — рыбаков»³⁷.

Наконец, особый случай представляет собой формирование социальных групп исключительно на основе прошлого: речь идет о непосредственных участниках тех или иных исторических событий. Потенциально группы такого рода существовали всегда, но их институционализация — относительно новое явление. Процесс формирования социальных групп по принципу участия в каком-либо событии совпал с переворотом, связанным с появлением новых электронных средств фиксации, хранения и воспроизведения информации.

Раньше люди, пережившие эпидемию чумы, или участники, например, одного из Крестовых походов, или выжившие жертвы очередной резни типа Варфоломеевской ночи, впоследствии не образовывали никакой социальной группы и не имели возможности выразить свои воспоминания. В лучшем случае оставались письменные мемуары одного-двух грамотных участников этих событий, типа Жоффруа де Виллардуэна и Жана де Жуанвиля или Анны Комниной и Никиты Хониата, Маргариты Наваррской или Теодора Агриппы д'Обинье (который, кстати, вообще не был в Париже 24 августа 1572 г.), или краткие записи в хрониках какого-нибудь монаха. Теперь же фиксация, хранение и воспроизведение большого числа индивидуальных воспоминаний участников или свидетелей какого-либо события стали обычной практикой.

В целом в групповом прошлом на первом плане, с одной стороны, оказывается групповой консенсус, с другой — противопоставление «своей» группы другим. Для конструкций группового прошлого (включая семейное), так же как для описаний индивидуального прошлого, характерно стремление к приукрашиванию и ретушированию, наличие пустот (пропусков), связанных с «неудобными» для данной группы или личности событиями. В лучшем случае эти события излагаются скороговоркой, зато

³⁷ Арнаутова Ю.Е. *Меторія*: «тотальный социальный феномен» и объект исследования // *Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени* / Ред. Л.П. Репина. М.: Кругъ, 2003. С. 27—28.

описания успехов и достижений всегда оказываются непомерно подробными. В этом отношении механизм формирования групповых представлений немногим отличается от индивидуальных.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И «ПОЛИТИКА ПАМЯТИ»

Обыденное знание о прошлом стало привлекать внимание исследователей лишь в последние десятилетия. Интерес к этому феномену проявляют представители разных дисциплин: социологии, социальной психологии, культурной и социальной антропологии, равно как и истории, а также специалисты в области политических технологий, массовых коммуникаций и т.д. Иногда эти штудии влияют друг на друга (при этом, к сожалению, междисциплинарные заимствования осуществляются не всегда достаточно профессионально), иногда ведутся независимо и изолированно, что тоже не способствует быстрому освоению новой области знания. Одним из важных показателей фазы «разброда и шатаний» является, в частности, неотработанность понятийного аппарата. Поэтому вначале совершим небольшой экскурс в историю понятий.

Социальные представления

Проблема представлений (мыслей, настроений) больших социальных групп стала объектом внимания исследователей на рубеже XIX—XX вв., начиная с первых работ Г. Ле Бона и Ж.-Г. де Тарда о психологии масс («толп»). Интерес к этой теме усиливался на протяжении первой половины прошлого столетия вместе с осознанием возрастающей роли масс в современном обществе — недаром уже в 1930 г. Х. Ортега-и-Гассет писал о «Восстании масс». Но в первой половине века интеллектуалы еще воспринимали массы и их нарастающую активность скорее со страхом, как иррациональную и опасную силу. Только после Второй мировой войны анализ этого социального объекта приобретает ценностно-нейтральный характер.

Важной областью исследования становится массовое политическое сознание, что объясняется осознанием роли масс в политическом процессе, в том числе с учетом опыта выборов 1930-х гг. Превращение масс в важный политический фактор в частности выразилось в процессе активного развития гражданского общества, что обусловило формирование большо-

го числа различных общественных групп и организаций, не привязанных жестко к политическим партиям и гораздо более массовых, чем элитарные «общества» и «кружки», создававшиеся европейскими интеллектуалами в XVIII–XIX вв. Но главное — эти многочисленные новые «группы интересов» получили возможность не только для организации, но и для расширения сферы своих социальных действий, в том числе для самовыражения благодаря развитию системы коммуникации и средств *массовой* информации. Наконец, все больший интерес специалистов с середины XX в. привлекает и феномен массовой культуры.

Иными словами, в прошлом веке активно развивается как социальная структура общества (она становится более дифференцированной), так и средства коммуникации в широком смысле (включая возможности фиксации и распространения мнений отдельных людей и социальных групп). По вполне понятным причинам растет интерес к мнению масс и их представлениям со стороны элиты — политической и интеллектуальной. Кроме того, и широким слоям населения становятся интересны сведения о собственных взглядах и позициях. Отсюда, в частности, колоссальное распространение с 1930-х гг. опросов общественного мнения, которые были неведомы предшествующим эпохам.

Уже во второй половине XIX — начале XX в. для обозначения массовых психических феноменов начинают использоваться разные термины: «формы общественного сознания» (К. Маркс), «психология народов» (Г. Штейнталь, М. Лацарус, Г. Вайц, В. Вундт, А. Фуйе), «психология масс» и «психология толп» (Ж.-Г. де Тард, С. Сигеле, Г. Ле Бон), «коллективные представления» (Э. Дюркгейм, М. Мосс, А. Юбер), а в первой трети XX в. к ним добавляется «ментальность» (Л. Леви-Брюль, Ш. Блондель), «общественное мнение» (Г. Тард, У. Липпман, Ф. Тённис), «групповое сознание» (У. МакДугалл), «коллективное бессознательное» (К. Юнг) и т.д.

Некоторые из этих понятий несли на себе явный отпечаток представлений о неких надындивидуальных психических феноменах, типа «духа» или «души» народа, «коллективного разума» и проч. Следы таких воззрений можно обнаружить, например, в понятии «коллективные представления», введенном Э. Дюркгеймом³⁸. По этому поводу еще Б. Малиновский в 1916 г. писал:

³⁸ См., например: Дюркгейм Э. Представления индивидуальные и представления коллективные [1898] // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. Пер. с фр. М.: Канон, 1995. С. 208–243.

Я намеренно не использую выражение «коллективные представления», которое было введено проф. Э. Дюркгеймом и его школой... Мне кажется, что эта философия содержит метафизический постулат «коллективной души», который я не могу принять... В полевых исследованиях, анализируя туземное или цивилизованное общество, мы имеем дело со множеством индивидуальных душ, и все методы и теоретические понятия должны рассматриваться только в соответствии с этим сложным материалом. Постулат коллективного сознания бессодержателен и совершенно бесполезен для этнографа-наблюдателя³⁹.

Спустя 70 лет эту же мысль высказал С. Московичи: «Понятие коллективных представлений, равно как... групповой разум, массовая душа, Volkseele, харизма и т.п., на самом деле относятся к коллективному индивиду или сущности»⁴⁰. Кроме того, как подчеркивает Московичи, эти термины предполагают существование стабильных гомогенных групп и устойчивых представлений в этих группах.

И Малиновский, и Московичи предложили использовать вместо «коллективных представлений» термин «социальные представления», хотя и по разным основаниям. По определению Б. Малиновского,

социальными представлениями сообщества, в отличие от индивидуальных идей, <можно назвать> все верования, содержащиеся в обычаях и традициях туземцев... Этот класс верований вполне стандартизован, благодаря своим социальным формам... В дополнение к этому утверждению нужно сказать следующее: из всех элементов верований могут быть признаны «социальными идеями» только те, которые фигурируют не только в социальных обычаях, но и в сознании аборигенов — т.е. если сами туземцы их четко формулируют и признают их существование⁴¹.

В 1980-е гг. С. Московичи предложил заменить термин «коллективные представления» на «социальные представления», объясняя свое терминологическое нововведение «необходимостью наведения мостов между индивидуальным и социальным миром и осмысления последнего как находящегося в состоянии перманентных изменений»⁴².

³⁹ Малиновский Б. Балом: духи мертвых на Тробрианских островах [1916] // Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 436.

⁴⁰ Moscovici S. Answers and Questions // Journal for the Theory of Social Behaviour, 1987. V. 17. № 4. P. 516.

⁴¹ Малиновский Б. Балом: духи мертвых на Тробрианских островах [1916] // Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 417.

⁴² Moscovici S. Notes Towards a Description of Social Representations // European Journal of Social Psychology. 1988. V. 18. №. 3. P. 219.

Под социальными представлениями мы понимаем ряд понятий, высказываний и объяснений, возникающих в повседневной жизни в процессе межличностного общения. В нашем обществе они эквивалентны мифам и системам религиозных убеждений в традиционных обществах: их можно было бы даже назвать современным вариантом здравого смысла⁴³. «То, что позволяет называть представления социальными, связано не столько с тем, что они обретают своих носителей в индивидах или группах, сколько с фактом их выработки в процессе обмена и взаимодействия⁴⁴.

Термин «социальные представления» в трактовке Московичи и его последователей представляется нам вполне приемлемым. С одной стороны, акцентируется то обстоятельство, что речь идет о социально формируемых представлениях, с другой — что речь идет о представлениях о социальных явлениях, т.е. общественно (а не только индивидуально) значимых событиях, процессах, отношениях и т.д.

Кроме того, как легко заметить, Московичи связывает этот термин с понятием «повседневного взаимодействия» и возникающими в этом контексте «обыденным знанием», «здоровым смыслом» (*англ.* common-sense knowledge), которые вошли в научный оборот прежде всего благодаря А. Шюцу⁴⁵. Поэтому в нашем исследовании мы используем «социальные представления» в качестве синонима «обыденного знания», по крайней мере в применении к современному обществу.

В связи с этим следует подчеркнуть различие между «социальными» и «групповыми» представлениями. Групповые представления (групповое знание) — феномен, хорошо исследованный в социальной психологии, как на уровне механизма формирования, так и с точки зрения содержания. Но, учитывая многообразие социальных групп, общее понятие групповых представлений оказывается весьма расплывчатым, в частности, в силу наличия профессиональных экспертных групп, ответственных за производство и поддержание тех или иных сегментов социального запаса знания. В свою очередь представления в группах, не связанных профессионально с производством знания, также в значительной мере формируются

⁴³ *Moscovici S.* On Social Representations // *Social Cognition: Perspectives on Everyday Understanding* / Ed. by J. Forgas. L.: Academic Press, 1981. P. 181.

⁴⁴ *Московичи С.* От коллективных представлений — к социальным [1989] // *Вопросы социологии.* 1992. № 2. С. 91.

⁴⁵ См., например: *Шюц А.* Обыденная и научная интерпретация человеческого действия [1953] // *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 7—50.

своего рода «экспертами», условно говоря — «идеологами» группы, а лишь затем в той или иной степени усваиваются остальными ее членами. Нас же в данном случае интересует лишь эта последняя составляющая, а именно — обыденные групповые представления, которые обычно именуются как «массовые представления».

Вообще, степень однородности групповых представлений не следует преувеличивать. Как отмечал еще Л. Выготский,

Все в нас социально, но это отнюдь не означает, что решительно все свойства психики отдельного человека присущи и другим членам данной группы. Только некоторая часть личной психологии может считаться принадлежностью данного коллектива, и вот эту часть личной психики в условиях ее коллективного проявления и изучает всякий раз коллективная психология, исследуя психологию войска, церкви и т.п.⁴⁶.

Еще одна терминологическая проблема связана с понятием «представления» (*фр.* representations, *англ.* representations). В психологии и логике «представления» традиционно обозначают звено в переходе от восприятия к мышлению, либо от образа к понятию. Являются ли социальные представления знанием с позиций социологии знания, т.е. рассматриваются ли они их носителями как знание? В отношении групповых представлений ответ, видимо, скорее должен быть утвердительным. Что же касается массовых представлений, то здесь ответ не столь однозначен, и эта проблема нуждается в дальнейшем изучении. Тем не менее в контексте нашего исследования мы будем использовать термин «социальные представления» (который распространен только во французской литературе, но почти не используется в англосаксонской и немецкой профессиональной лексике) в качестве синонима «знания», т.е. социально объективированных «мнений»⁴⁷.

В целом проблема формирования социальных (групповых, коллективных, массовых и т.д.) представлений детально изучалась в разных дисциплинах, прежде всего в психологии, социальной и культурной антропологии и в социологии. Эти исследования шли на разных уровнях и в рамках различных подходов, поэтому отметим здесь лишь несколько результатов, важных для нашего анализа.

Во-первых, были изучены механизмы выработки общих значений и смыслов в процессе межличностной коммуникации. Эти исследования

⁴⁶ *Выготский Л.С.* Психология искусства. М.: Педагогика, 1987 [1965]. С. 20.

⁴⁷ *Савельева И.М., Полетаев А.В.* Знание о прошлом: теория и история. В 2-х т. Т. 1: Конструирование прошлого. СПб.: Наука, 2003. Гл. 3.

велись, с одной стороны, социологами (Ч. Кули, Дж. Мид, А. Шюц, Г. Гарфинкель, И. Гоффман), с другой — психологами, в частности, в рамках различных теорий общения⁴⁸. Другим важным направлением психологических исследований стала разработка так называемых теорий когнитивного соответствия (Ф. Хайдер, Т. Ньюком, Ч. Осгуд и П. Танненбаум, Р. Абельсон и М. Розенберг, и др.)⁴⁹. Все они были ориентированы на выявление механизма «притирки» представлений взаимодействующих субъектов, прежде всего в рамках устойчивого группового общения⁵⁰. Как отмечает Г. Андреева,

Общим для всех них было с самого начала признание того факта, что человек ведет себя таким образом, чтобы максимизировать внутреннее соответствие его когнитивной системы, и более того, группы ведут себя таким образом, чтобы максимизировать внутреннее соответствие их межличностных отношений. Ощущение же несоответствия вызывает психологический дискомфорт, что и порождает реорганизацию когнитивной структуры с целью восстановления соответствия⁵¹.

Во-вторых, большая группа работ посвящена проблеме формирования представлений индивида в рамках собственно группового общения, прежде всего в малых группах. Речь идет о различных теориях групповой динамики (термин К. Левина), в том числе теории социального поля (К. Левин), социального обмена (Дж. Хоманс) и т.д. Здесь были предложены разнообразные модели группового влияния и конформности, в которых анализируется механизм воздействия группы (ее лидеров или группового большинства) на представления всех членов⁵². Особую известность получила, в частности, информационная модель конформности М. Дойча и Г. Джерарда, в которой выделяются два типа влияния: нормативное («давление») и информационное («убеждение»). Первое характерно для влияния, оказываемого большинством группы или ее признанными лидерами, второе — для влияния, ока-

⁴⁸ Обзор см. в: Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Наука, 1994. С. 59—118.

⁴⁹ Обзор см. в: Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 54—63. Подробнее см.: Theories of Cognitive Consistency: A Sourcebook / Ed. by R.P. Abelson et al. Chicago: Rand McNally, 1968.

⁵⁰ Поэтому из этого ряда выделяется известная теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, которая имеет дело с когнитивной структурой одного индивида.

⁵¹ Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 54.

⁵² См.: Шихарев П.Н. Современная социальная психология. М.: Академический проект, 1999. С. 136—157.

зываемого меньшинством группы⁵³. Другая популярная концепция — теория референтной власти Б. Коллинза и Б. Рэвена, в которой представлено действие разнообразных форм группового влияния на индивида⁵⁴.

В-третьих, большое количество исследований анализирует проблему социальной обусловленности индивидуального мышления, влияние социальных факторов на формирование человека и его когнитивные процессы. Основы этого направления заложены, в частности, работами Ж. Пиаже, Л. Выготского и других о развитии мышления у детей. Написано много работ о воздействии на когнитивные процессы социальных установок, норм и ценностей⁵⁵.

Еще одно направление связано с изучением влияния когнитивных схем, принятых в данном обществе и воспринимаемых и усваиваемых человеком в процессе общения как само собой разумеющихся. У истоков этого подхода стояли в 1920-е гг. представители гештальт-психологии (М. Вертгеймер и др.). Тогда же У. Липпман в работе «Общественное мнение» (1922) ввел понятие «социального стереотипа», под которым понимается упрощенный, схематизированный образ социальных объектов или событий, обладающий значительной устойчивостью; в более широком смысле — традиционный, привычный канон мысли, восприятия и поведения⁵⁶.

В настоящее время в психологии выделяются два базовых элемента когнитивного процесса: категоризация (Дж. Брунер) и схематизация (У. Найссер)⁵⁷. Эти базовые элементы влияют на все стадии когнитивного процесса —

⁵³ Deutch M., Gerard H.B. A Study of Normative and Informational Influence upon Individual Judgements // Journal of Abnormal and Social Psychology, 1955. №. 51. P. 629—636; схему этой модели см.: Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 141—142.

⁵⁴ Collins D.E., Raven B.H. Group Structure: Attraction, Coalitions, Communication and Power // The Handbook of Social Psychology / Ed. by G. Linzey, E. Aronson. 2nd ed. Reading (MA): Addison-Wesley, 1968. V. 4. P. 102—204; схему этой модели см.: Шихарев П.Н. Современная социальная психология. М.: Академический проект, 1999. С. 151—153.

⁵⁵ Понятие социальной установки (англ. attitude) ввели У. Томас и Ф. Знанецки в работе «Польский крестьянин в Европе и Америке» (2 т.) (Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. 2 vols. Chicago: University of Chicago Press, 1918—1921). Под социальной установкой они понимали психологическое переживание индивидом ценности, значения, смысла социального объекта, состояние сознания индивида относительно некоторой ценности.

⁵⁶ Липпман У. Общественное мнение. Пер. с англ. М.: Фонд «Общественное мнение», 2002 [1922]. С. 93—162. В настоящее время понятие «стереотип» используется в более узком смысле, как устоявшееся представление о личностных чертах и особенностях поведения членов определенной группы.

⁵⁷ Найссер У. Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии. Пер. с англ. Благовещенск: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртене, 1998 [1976]; Брунер Дж. Психология

восприятие, переработку, хранение и воспроизведение информации. Категории и схемы являются социально обусловленными, и чем большим количеством категорий и схем владеет человек, тем сложнее и насыщеннее является его когнитивный процесс.

В-четвертых, немало исследований посвящено проблеме культурной обусловленности индивидуальных представлений. Первыми исследования такого рода начали проводить антропологи, в частности, в США — Ф. Босас и его ученики (А. Крёбер, Р. Бенедикт, М. Мид, Л. Уайт). Важное значение для этого направления имели и результаты, полученные представителями американской этнолингвистической школы (Э. Сепир, Б. Уорф), выдвинувшими так называемую гипотезу лингвистической относительности⁵⁸. В Германии проблема культурной обусловленности социальных представлений осмысливалась в контексте диффузионистского подхода на основе концепции «культурных кругов» (Л. Фробениус, Э. Бернгейм, Б. Анкерманн, Ф. Гребнер, В. Шмидт)⁵⁹. Во Франции особую роль сыграли работы Л. Леви-Брюля, предложившего для характеристики взаимосвязи индивидуального мышления и социальных представлений понятие «ментальность»⁶⁰. В Советском Союзе исследования в области этнокультурной психологии проводил А. Лурия⁶¹.

Материалы, полученные в результате полевых этнологических исследований примитивных культур, использовались не только для собственно этнологических выводов, но и для осмысления современно-

познания: За пределами непосредственной информации (сборник статей). Пер. с англ. М.: Прогресс, 1977. О категориях и схемах см., например: Перспективы социальной психологии / Ред. М. Хьюстон, В. Штребе, Дж. Стефенсон. 2-е изд. Пер. с англ. М.: ЭКСМО, 2001 [1988/1996]. С. 132–136. Различие между ними можно проиллюстрировать следующим образом: например, диван относится человеком к категории «мебель», но является частью схемы «комната» или «дом».

⁵⁸ Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку [1939] // Зарубежная лингвистика. Вып. I. М.: Прогресс, 1999. С. 58–92.

⁵⁹ См. например, работу Ф. Гребнера «Картина мира примитивных народов» (Das Weltbild der Primitives, 1924).

⁶⁰ См.: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление [1922] // Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. Пер. с фр. М.: Педагогика-Пресс, 1999; Леви-Брюль Л. Сверхъестественное [и естественное] в первобытном мышлении [1931] // Л. Леви-Брюль. Сверхъестественное в первобытном мышлении. Пер. с фр. М.: Педагогика-Пресс, 1999.

⁶¹ Лурия А.Р. Кросскультурные исследования. М.: Изд-во Московского ун-та, 1971; Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. М.: Изд-во Московского ун-та, 1974. Заметим, что А. Лурия проводил свои полевые исследования в Средней Азии еще в 1930-е гг., но смог опубликовать их результаты только в 1970-е.

го общества. Речь при этом идет как о выявлении его отличий от «досовременных», так и об идентификации «реликтовых» социокультурных характеристик в современном обществе. Этот подход активно развивался, в частности, в исследованиях Э. Эванс-Притчарда, Р. Бенедикт, М. Мид, М. Дуглас и многих других этнологов, которые убедительно продемонстрировали влияние социокультурных факторов на когнитивные процессы в современных обществах. Особенно популярным исследование роли культурных факторов в социальной психологии становится после Второй мировой войны⁶².

В-пятых, большой интерес представляют исследования формирования массовых представлений в современном обществе в рамках теории социальных представлений, предложенной С. Московичи⁶³. Еще в своей докторской диссертации «Психоанализ: его образ и его публика» (1961) Московичи проанализировал формирование социальных (массовых) представлений о психоанализе во французском обществе, т.е. процесс трансформации научного знания в обыденное сознание⁶⁴. В своем исследовании он опирался на результаты интервью с представителями разных слоев французского общества и на данные контент-анализа национальной прессы различной политической ориентации.

За пределами Франции теория социальных представлений стала относительно известна в Европе только в 1980-е гг.⁶⁵, а в США вообще не получила признания. Тем не менее последователи Московичи во Франции и некоторых других странах (Д. Жоделе, К. Каёз, М.-Ж. Шомбар де Лёв, В. Дуаз, Дж. Ди Джакомо, А. Эчебаррия и Д. Паэз, Дж. Филоджин и др.) провели интересный и содержательный анализ самых разных социальных представлений: о культуре, болезнях и здоровье, СПИДе, о теле, городе, женщинах,

⁶² См. обзорные работы: Triandis H.C. Cultural Influences upon Cognitive Processes // Advances in Experimental Psychology / Ed. by L. Berkowitz. N. Y.: Academic Press, 1964. P. 1–49; Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление: Психологический очерк / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1977 [1974].

⁶³ О теории социальных представлений см.: Донцов А.И., Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений в современной французской психологии. М.: Изд-во Московского ун-та, 1987; Якимова Е.В. Теория социальных представлений в социальной психологии: дискуссии 80-х — 90-х годов. М.: ИНИОН РАН, 1996; Шухарев П.Н. Современная социальная психология. М.: Академический проект, 1999. С. 273–282.

⁶⁴ Moscovici S. La psychanalyse: son image et son public. P.: P.U.F., 1961.

⁶⁵ См.: Moscovici S. On Social Representations // Social Cognition: Perspectives on Everyday Understanding / Ed. by J. Forgas. L.: Academic Press, 1981. P. 181–209; Social Representations / Ed. by R. Farr, S. Moscovici. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

детях, афроамериканцах и т.д.⁶⁶ Этот подход, учитывающий влияние на современное массовое сознание научных теорий (в опосредованной форме), идеологических концепций и роль средств массовой информации, представляется нам весьма плодотворным.

К сожалению, все это многообразие подходов, концепций, моделей и результатов, полученных в рамках социологии, культурной антропологии и психологии, пока, насколько нам известно, практически не нашло применения в изучении социальных (обыденных) представлений о прошлом. Дискуссии в этой области пошли своим, довольно специфичным путем.

Прошлое и память

Представления о прошлом или «историческое сознание» уже довольно давно находились в поле исследовательских интересов историков. Прежде всего эта тема разрабатывалась в рамках историографии в узком смысле, т.е. истории исторического знания (исторической науки). Основным объектом внимания при этом, естественно, оставались сочинения историков, причем наиболее известных. Но взгляды отдельных профессиональных историков еще не составляют знания о прошлом. Как отмечал Й. Хёйзинга,

...всякое историческое знание об одном и том же предмете — независимо от того, является ли этим предметом город Лейден или Европа в целом, — выглядит в голове ученого А совсем не так, как в голове ученого Б, даже если оба они прочли абсолютно все, что можно было прочесть на данную тему... В отдельном мозгу историческое знание никогда не может быть чем-то большим нежели память, откуда могут быть вызваны те или иные образы. In actu это знание существует лишь для пришедшего экзаменоваться студента, отождествляющего его с тем, что написано в книге⁶⁷.

Во второй половине XX в. наряду с традиционной историографией появляются работы, анализирующие развитие исторических представлений и взглядов («исторического сознания») более широких слоев интеллекту-

⁶⁶ Обзор и библиографию этих работ см.: Якимова Е.В. Теория социальных представлений в социальной психологии: дискуссии 80-х — 90-х годов. М.: ИНИОН РАН, 1996. С. 7–8, 83–107; *Перспективы социальной психологии* / Ред. М. Хьюстон, В. Штребе, Дж. Стефенсон. 2-е изд. Пер. с англ. М.: ЭКСМО, 2001 [1988/1996]. С. 140–141.

⁶⁷ Хёйзинга Й. Задачи истории культуры [1929] // Хёйзинга Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры. Пер. с голл. М.: Прогресс Традиция, 1997. С. 219.

альной элиты: философов, религиозных мыслителей и т.д. Внимание исследователей привлекло, в частности, формирование исторического сознания на Древнем Востоке, в Древней Греции и Риме, в Средневековой Европе, в эпоху Возрождения и, наконец, в Новое время. Параллельно с этим специалисты по культурной антропологии продолжали активно изучать различные мифы и легенды примитивных культур, как древних, так и современных.

Наконец, в последние десятилетия XX в. возникает, причем отнюдь не по инициативе историков, бурный интерес к социальным представлениям о прошлом, существующим в *современном* обществе. Если говорить о внешних (не эпистемологических) причинах популярности и востребованности этой тематики, то здесь можно выделить несколько факторов.

Прежде всего, это уже отмеченное нами активное формирование самых разнообразных общественных объединений и групп. Для любой социальной группы прошлое и история играют ключевую роль с точки зрения самоидентификации и выражения групповых интересов. Для большинства социальных групп или, по крайней мере, их лидеров, характерно стремление к акцентировке тех или иных событий прошлого, связанных с формированием данной группы или ее сегодняшними задачами. В свою очередь политические оппоненты заинтересованы в создании своего, альтернативного образа прошлого, в котором роль тех же групп или важных для них исторических событий, наоборот, преуменьшается.

Существенную роль сыграло и такое новое явление, о котором мы упоминали выше, как институционализация групп участников или жертв тех или иных исторических событий — прежде всего войн и этнических и политических репрессий. Кроме того, как отмечает Я. Ассман, одной из важнейших причин обращения в 1980-е гг. к теме знаний о прошлом в современном обществе было осознание того факта, что «поколение очевидцев тяжелейших в анналах человеческой истории преступлений сейчас постепенно уходит из жизни»⁶⁸.

Но содержание современных социальных представлений о прошлом связано отнюдь не только с событиями относительно недавнего прошлого и воспоминаниями их участников. Массовые представления о событиях более отдаленного и даже очень давнего прошлого также служат формой интеграции или дезинтеграции общества и нации в целом. Поэтому эта те-

⁶⁸ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992]. С. 11.

матика часто актуализируется ad hoc, при возникновении какого-либо политического или мемориального повода.

Ко всем этим факторам можно добавить и несколько причин концептуального характера. Прежде всего, это ставшее общим местом среди представителей самых разных дисциплин положение о том, что прошлое — это конструкция, которая создается в настоящем и наши сегодняшние репрезентации прошлого — это отнюдь не то, «как оно было на самом деле», а всего лишь очередные конструкции прошлого. В идеологизированной трактовке, которую активно развивают представители французского и американского постмодернизма, отсюда следует, что конструкция прошлого является объектом манипуляций и выступает в качестве одной из форм «властного дискурса», навязывающего массам образа прошлого (равно как и настоящего и будущего), выгодного интеллектуальным и политическим элитам.

Но если в работах постмодернистов этот феномен выступает в качестве объекта исследования, то отдельные политические группы и организации взяли его на вооружение в качестве практического руководства к действию. Борьба за групповые политические интересы стала включать в себя и активное предложение обществу партикулярного образа прошлого — например, «женской истории».

Постепенно в дискуссии о современном массовом знании о прошлом вовлеклись и историки. На протяжении большей части XX в. историки полагали, что в современных обществах, в отличие от традиционных, одна из функций истории как научного знания состоит в том, что она выполняет роль каркаса исторического сознания или массовых представлений о прошлом. Однако оказалось, что трансформация научного знания в социальные представления — это сложный и часто даже крайне сложный процесс. Результаты проведенных в последние десятилетия опросов общественного мнения, ориентированных на выявление социальных представлений о прошлом, стали для многих профессиональных историков неприятным сюрпризом. Выяснилось, что несмотря на существование всеохватывающей системы школьного образования, которая, по идее, должна служить инструментом трансляции научных знаний в общество, массовые представления о прошлом сильно отличаются от профессиональных.

Приведем только один пример, поразивший в свое время немецких историков. В Западной Германии, несмотря на колоссальное значение нацистского прошлого для послевоенной немецкой исторической науки,

мыльная опера о Холокосте, показанная в январе 1979 г. с телефонными звонками и вопросами зрителей после каждой части и панелями, на которые приглашались специалисты (в том числе и очень известные историки — М. Брошат, А. Хильгрубер), показала, что профессиональное историческое знание об этой трагедии прошло мимо обывателя. Как пишет А. Людтке: «Один вопрос повисал в воздухе: Почему люди игнорировали это знание? Почему они не вычитали его в книгах?»⁶⁹ Реакция телезрителей свидетельствовала, что вне академий и школ существует другая, «молчаливая» история нацистского прошлого.

В последние десятилетия массовые или групповые представления о прошлом часто обозначают какими-то словосочетаниями, включающими слово «память» — коллективная память, социальная память, культурная память, историческая память. Сразу скажем, что все эти термины кажутся нам не слишком удачными, хотя бороться с этими клише уже, видимо, поздно. Тем не менее мы все же считаем необходимым высказать ряд критических замечаний по поводу этой терминологии⁷⁰.

Одной из главных причин появления термина «память» в приложении к истории стало повышенное и во многом оправданное внимание к *воспоминаниям* участников и, главным образом, жертв величайших трагедий XX в. — Холокоста, сталинских репрессий, других этнических и политических геноцидов, равно как и участников Второй мировой войны.

Однако затем термин «память» стал быстро распространяться на самые разные аспекты социальных представлений о прошлом. Например, во Франции, по мнению Ф. Артога, «вся шумиха вокруг памяти происходила в то время, когда приближалась важнейшая дата — двухсотлетие Революции, властно выносившее на повестку дня и на общее обсуждение юбилейное воспоминание как таковое»⁷¹.

Одновременно внимание ряда ученых привлекли исследования одного из учеников Э. Дюркгейма, М. Хальбвакса, написанные в 1930-е — на-

⁶⁹ Ludtke A. «Coming to Terms with the Past»: Illusions of Remembering, Ways of Forgetting Nazism in West Germany // The Journal of Modern History, September 1993. Vol. 65. № 3. P. 546.

⁷⁰ Более развернутую критику см. в: Савельева И.М., Поляев А.В. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия // Феномен прошлого / Ред. И. М. Савельева. М.: ГУ ВШЭ, 2005 (в печати); Руткевич А.М. Психологический анализ, история, травмированная «память» // Феномен прошлого / Ред. И.М. Савельева. М.: ГУ ВШЭ, 2005 (в печати).

⁷¹ Артог Ф. Время и история: «Как писать историю Франции?» [1995] // «Анналы» на рубеже веков: Антология / Сост. А.Я. Гуревич, С.И. Лучицкая. Пер. с фр. М.: «XXI век — согласие», 2002. С. 157.

чале 1940-х гг. и изданные уже после его смерти в сборнике под названием «Коллективная память» (1950)⁷². Фигура этого ученого сама попала в тот же символический ряд, поскольку в 1944 г. он был арестован Гестапо и затем отправлен в Бухенвальд, где погиб в марте 1945 г. Поскольку концепция Хальбвакса довольно подробно обсуждалась в целом ряде работ⁷³, мы ограничимся здесь лишь краткими замечаниями, существенным для дальнейшего изложения.

Научные интересы Хальбвакса во многом были обусловлены его биографией. В лицее он учился у А. Бергсона, в Высшей нормальной школе — у Ф. Симиана, после окончания университета — у Э. Дюркгейма. Затем он преподавал социологию в Страсбурге, был близок с Л. Февром и М. Блоком и входил в первую редколлегия Анналов, представляя в этом междисциплинарном издании социологию⁷⁴.

Интерес Хальбвакса к проблемам памяти объясняется, в частности, влиянием Бергсона и его сочинения «Материя и память». В работе «Социальные рамки памяти» (1925) Хальбвакс показал, что социальная среда ограничивает и упорядочивает воспоминания в пространстве и во времени, служит источником как самих воспоминаний, так и понятий, в которых они фиксируются. Даже личные воспоминания имеют социальное измерение, поскольку в действительности являются сложными образами, возникающими только через коммуникацию и взаимодействие в рамках социальных групп⁷⁵.

Эта работа Хальбвакса вполне укладывалась в русло передовой психологической науки 1920-х гг. Именно в этот период происходило становление социальной психологии, и исследователи начали обращать внимание

⁷² Этот сборник статей вышел одновременно во Франции (*Halbwachs M. La memoire collective*. P.: PUF, 1950) и в английском переводе в США (*Collective Memory*. N.Y.: Harper & Row, 1950). Во Франции эта работа переиздавалась несколько раз, в том числе в 1968 и 1980 гг. В США она была переиздана в 1980 г. (с предисловием М. Дуглас) и в 1992 г. (с предисловием Л. Козера и с включением ряда других сочинений Хальбвакса), в Германии она была издана в немецком переводе в 1967 и 1985 гг.

⁷³ См., например: *Namer G. Memoire et societie*. P.: Meridiens Klincksieck, 1987; *Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности*. Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992]. С. 35–50; *Хаттон П. История как искусство памяти*. Пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2003 [1993]. С. 191–228; и др.

⁷⁴ Однако, как пишет П. Хаттон, восприятие Хальбваксом исторического метода оставалось основанным на устаревшей теории О. Конта, и в Анналах он выглядел посторонним (см.: *Хаттон П. История как искусство памяти*. Пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2003 [1993]. С. 196).

⁷⁵ *Halbwachs M. Les cadres sociaux de la memoire*. P.: Librairie Felix Alcan, 1925.

на влияние социальных факторов на различные виды психической деятельности, в том числе и на память (достаточно упомянуть широко известную среди психологов работу Ф. Бартлета)⁷⁶. Однако, как с сожалением замечает Я. Ассман, Хальбвакс не ограничился анализом «социальных рамок» памяти, а «пошел еще дальше, объявив коллектив субъектом памяти и воспоминания, создав понятия «групповая память» и «память нации», в которых понятие памяти оборачивается метафорой»⁷⁷.

Практика антропоморфизации социальных общностей, наделения социальных коллективов и групп чертами индивидуальной личности существовала со времен архаики и была активно выражена еще в XVIII–XIX вв. В частности, от Монтескье и Вольтера до Штейнтала и Вундта по страницам разных сочинений кочевали понятия «дух народа», «душа народа», «характер народа» и т.д. Отчасти подобные архаичные представления сохранялись и в первой половине XX в. — например, М. Шелер для характеристики социальных групп использовал выражения «групповая душа» и «групповой дух», а Э. Фромм в «Бегстве от свободы» (1941) писал о «социальном характере».

В полной мере эти архаичные представления о «коллективной психике» еще присутствовали и в работах Хальбвакса, который воспринял их от Дюркгейма (см. выше). Более того, Хальбвакс делил «коллективную психику» на отдельные части — разум, рассудок, эмоции, память и т.д., — восходящие едва ли не к Аристотелю. Об этом наглядно свидетельствуют названия некоторых из его статей: «Коллективная психология рассудочной деятельности» (1938), «Индивидуальное сознание и коллективный разум» (1939), «Выражение эмоций и общество» (1947 посм.)⁷⁸. Из этого же разряда — статьи, собранные в посмертно изданном сборнике «Коллективная память» (1950).

Антропоморфизация коллективного субъекта постоянно воспроизводится при использовании понятия «коллективная память» и в современной литературе, в том числе путем переноса на массовое сознание ряда понятий из психоанализа начала XX в. («травма» и т.п.), а также различных

⁷⁶ *Bartlett F.C. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1932.

⁷⁷ *Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности*. Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992]. С. 37.

⁷⁸ См.: *Хальбвакс М. Социальные классы и морфология* (избр. статьи) / Сост. В. Каради. Пер. с фр. СПб.: Алетейя, 2000 [1972 посм.]. Разд. «Коллективная психология».

психических расстройств, выражающихся в нарушении памяти — амнезия, гипермнезия и т.д.⁷⁹

Из-за этого более современно мыслящие авторы стараются использовать паллиативные термины, не несущие на себе явный отпечаток представлений о существовании «коллективной психики», например, «культурная память»⁸⁰, «социальная память»⁸¹ и др. Однако связывать, а тем более отождествлять представления (знания) о прошлом с памятью неверно в принципе. Как известно любому современному психологу, память является лишь одним из компонентов когнитивной системы и составной частью процесса восприятия, усвоения, переработки, хранения и воспроизведения информации. Поэтому память имеет такое же отношение к знаниям о прошлом, как и к знаниям о настоящем и о будущем, и вообще к любым знаниям (представлениям)⁸².

Особые возражения вызывает использование такого клише, как «историческая память», которое уже довольно прочно укоренилось в общественно-политической лексике и постепенно начинает проникать в профессиональную литературу. Напомним, что историю связал с памятью еще Ф. Бэкон: в работе «О достоинстве и приумножении наук» (1623) он ввел разделение знания на науки разума («философию» или «чистую науку»), науки памяти («историю») и науки воображения («поэзию»). Позднее это деление было закреплено Т. Гоббсом в «Левиафане» (1651) и являлось доминирующим вплоть до конца XVIII в.; в том числе оно использовалось в «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. д'Аламбера (т. 1, 1751 г.). Некоторые авторы, например П. Хаттон, продолжают следовать этой традиции и по сей день⁸³.

⁷⁹ Амнезия — потеря памяти, гипермнезия — навязчивая память. В этом смысле психические заболевания, связанные с нарушением памяти — настоящая находка для любителей метафор. Помимо амнезии, которую широко используют в литературе по исторической памяти, мы можем предложить их вниманию следующие недуги: гипомнезия — сокращение памяти; старческий маразм; охранительное вытеснение; криптомнезия — ложные воспоминания, вымысел, перемещение в другое время.

⁸⁰ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992]; Экле О.Г. Культурная память под воздействием историзма [2000] // Одиссей. Человек в истории. 2001. С. 176—198; Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки) // Гуманитарные исследования. М.: ГУ ВШЭ. 2003. Вып. 7.

⁸¹ Jeudy H.-P. *Memoires du social*. P.: P.U.F., 1986; Fentress J., Wickham C. *Social Memory*. Oxford: Blackwell, 1992; и др.

⁸² См., например: Психология памяти / Сост. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: ЧеРо, 1998.

⁸³ Хаттон П. История как искусство памяти. Пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2003 [1993].

Однако, как напоминает Ф. Артог,

Историческая наука XIX столетия начала с того, что провела отчетливый водораздел между прошлым и настоящим... Истории следовало начинаться там, где останавливалась память: в архивах⁸⁴.

Еще более категорично высказывается по этому поводу Я. Ассман, и мы полностью разделяем его точку зрения: «Память о прошлом не имеет ничего общего с научной историей»⁸⁵. Таким образом, большинство современных специалистов противопоставляет историческое знание (науку) и «историческую память», что не мешает, впрочем, использованию последнего выражения.

«Историческая память» по-разному интерпретируется отдельными авторами⁸⁶: как способ сохранения и трансляции прошлого в эпоху утраты традиции (отсюда — изобретение традиций и установление «мест памяти» в современном обществе), как индивидуальная память о прошлом, как часть социального запаса знания, существующая уже в примитивных обществах, как «коллективная память» о прошлом, если речь идет о группе, и как «социальная память», когда речь идет об обществе, как идеологизированная история, более всего связанная с возникновением государства-нации, наконец, просто как синоним исторического сознания.

Есть и другие варианты. «Историческая память» трактуется как совокупность представлений о социальном прошлом, которые существуют в обществе как на массовом, так и на индивидуальном уровне, включая их когнитивный, образный и эмоциональный аспекты. В этом случае массовое знание о прошлой социальной реальности и есть *содержание* «исторической памяти». Или: «историческая память» представляет собой опорные пункты массового знания о прошлом, минимальный набор ключевых образов событий и личностей прошлого в устной, визуальной или текстуальной форме, которые присутствуют в активной памяти (не требуется усилий, чтобы их вспомнить).

⁸⁴ Артог Ф. Время и история: «Как писать историю Франции?» [1995] // «Анналы» на рубеже веков: Антология / Сост. А.Я. Гуревич, С.И. Лучицкая. Пер. с фр. М.: «XXI век — согласие», 2002. С. 157—158.

⁸⁵ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992]. С. 81.

⁸⁶ О спектре подходов к «исторической памяти» см.: Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки) // Гуманитарные исследования. М.: ГУ ВШЭ. 2003. Вып. 7.

На самом деле наша неудовлетворенность связана не просто с нечеткой концептуализацией понятия «историческая память», неоправданным увлечением новым термином, противоречивостью формулировок и недодуманностью трактовок. Из теоретически не проработанного материала следуют интерпретации, которые либо не вполне корректно используют потенциал нового концепта, либо вообще кажутся нам непродуктивными или избыточными. Конечно, можно использовать метафору «историческая память», чтобы подчеркнуть, что общество «помнит» о своем прошлом, «хранит в памяти» события своей истории, но на самом деле знания запечатлены в текстах и других материальных носителях, а память — это способность индивидуальной психики.

Хотя социальные представления о прошлом (пользуясь терминологией С. Московичи) или обыденное знание о прошлом (по терминологии А. Шюца) в последние десятилетия привлекают большое внимание представителей самых разных дисциплин, изучение этой темы пока находится в зачаточном состоянии, как из-за дефицита эмпирического материала, так и в силу ограниченности и неадекватности используемых концепций, в лучшем случае отражающих уровень научных знаний конца XIX — начала XX в.

«Политика памяти»

Связь исторического знания с политической властью — старая топика, актуальная уже в древности. Тематизация данной проблемы, равно как и эмпирические формы реализации этой связи менялись во времени, хотя некоторые базовые принципы оставались неизменными. В древности одной из политических задач, которые ставились перед историками, было прославление нынешней власти, увековечивание памяти о ней. Неслучайно в Древней Греции Клио первоначально была музой гимнической (прославляющей) поэзии, и лишь затем превратилась в музу истории. Точно так же власти всегда были заинтересованы в создании «правильного» образа прошлого, будь то уничтожение сведений («памяти») о каких-то людях или событиях, или их актуализация и героизация.

На концептуальном уровне связь истории с политикой стала активно обсуждаться в XIX в., с акцентом на прагматическую сторону этих отношений. Так, в заключительном разделе «Очерка историки» И.Г. Дройзен писал:

Практическое значение исторических исследований заключается в том, что они — и только они — дают государству, народу, армии и т.д. *образ самого себя*. Изучение истории есть основа политического воспитания и образования. Государственный деятель есть историк-практик⁸⁷.

Таким образом за историей (а тем самым и историками) признавалось право (обязанность?) давать уроки, а за политиками — обязанность (право?) их брать.

В XX в. связь между историей и политикой не только не ослабла, но еще больше усилилась. А в последние десятилетия прошлого столетия возникли новые формы «политизации истории», в которых активно участвуют самые разные социальные группы. Одним из главных символов этой политизации стало упомянутое выражение «историческая память». Еще раз подчеркнем, что этот термин является прежде всего идеологическим клише, а по сути речь идет о социальных представлениях о прошлом. Поэтому во избежание недоразумений мы будем использовать это выражение в кавычках.

Об идеологизированном характере концепта «историческая память» свидетельствует и тот факт, что во многих случаях он используется в связке с понятием «политика памяти». Само слово «политика» указывает на то, что речь идет либо об изучении способов идеологизации прошлого, либо о самом процессе идеологизации знания о прошлом. Неслучайно во многих сочинениях о «политике памяти» мы обнаруживаем манифесты очередных «движений», на этот раз «движений за память» (жертв Холокоста, депортаций, Гулага), что уж точно выводит соответствующие тексты за пределы научно-исторического дискурса. При таком подходе в репрезентации этих сюжетов неизбежны (и во многом оправданы) моральные оценки, такие собирательные и понятные сегодня каждому интеллектуалу метафоры как «травма», «вина» и т.д. (вспомним вызвавший большой общественный резонанс в годы перестройки фильм Т. Абуладзе «Покаяние»).

Существует мнение, что понятие «политика памяти» стало активно обсуждаться в связи с укоренением постмодернистского тезиса о власти историографических дискурсов, которые утверждают «нужные» представления в качестве официальной «памяти общества». Действительно, в ряде постмодернистских сочинений представителей французской семиотической школы (Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Деррида и др.) тезис о навязывании

⁸⁷ Дройзен И. Г. Очерк историки [1858] // Дройзен И. Г. Историка. Пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 499.

обществу «буржуазной картины мира» путем создания соответствующей текстовой реальности обосновывался в том числе и отсылками к историческим сочинениям.

Тезис о «монополизации исторической памяти» активизировал, в частности, стремление «непосвященных» к стиранию граней между профессиональным и массовым историческим знанием, стимулировал попытки «уравнять в правах» на конструирование прошлого профессиональных историков, дилетантов, и даже — широкие массы (трудящихся). Сегодня все чаще начинают звучать призывы к тому, чтобы сделать радикальный шаг в «демократизации» или, точнее, «обобществлении» процессов производства исторического знания. Например, пафос концепции американской исследовательницы С. Крейн состоит в протесте против возникшей в эпоху «модерности» формы исторического познания, которую она называет «культурой консервации прошлого». Эта форма, по ее мнению, заключается в навязывании индивиду, обладающему собственным историческим сознанием, той истории, которая создается историками. В связи с этим Крейн на страницах солидного исторического журнала заявляет:

Каждый индивид, как член многих групп, является носителем и выразителем персональной памяти исторического значения в виде живого опыта... Разве нельзя расширить исторический дискурс, чтобы включить концепцию любого из нас в качестве авторов исторических сочинений, которые пишут как исторические действующие лица... Нет необходимости жестко разделять жанры автобиографии и истории⁸⁸.

Однако надо заметить, что тенденция мыслить социальное как результат действий, основанных на определенных идеях, проявлялась задолго до постмодернистов практически во всех идеологических направлениях. Все идеологические системы покоятся на презумпции, что обстоятельства, которые конституируют социальную реальность, могут быть изменены, если сознательно воздействовать на содержание сознания, в том числе и исторического.

На наш взгляд, включение историков в обсуждение проблемы «исторической памяти» и «политики памяти» в современном обществе по существу отражает модификацию представлений о функциях истории. По

⁸⁸ Crane S.A. Writing the Individual Back into Collective Memory // American Historical Review, December 1997. V. 102. №. 5. P. 1382–1383; цит. по: Ренина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки) // Гуманитарные исследования. М.: ГУ ВШЭ, 2003. Вып. 7. С. 29.

крайней мере с XIX в. история в существенной мере обеспечивает социально-групповую идентификацию — национальную, партийную и т.д., вплоть до гендерной⁸⁹. Но эта функция реализовывалась в основном на уровне групповых элит. Нарастающее на протяжении всего XX в. внимание к проблеме масс обусловило, в том числе, формирование мнения, что функция идентификации, которую издавна выполняла история, теперь должна реализоваться на уровне массовых представлений о прошлом. Этот дискурс подразумевает, что профессиональное историческое сообщество должно трудиться над производством не просто научного знания, но и массовой «исторической памяти» о прошлом. Историк тем самым оказывается включенным в создание альянсов «власти и памяти», «власти и забвения».

Одновременно актуализируется и еще одна старая функция истории — увековечивание (в постмодернистской лексике — «историзация») настоящего. Если в древности стремление увековечить память о себе было присуще в основном властителям, то в условиях демократизации общества аналогичные претензии начинают предъявлять самые разные социальные группы, вплоть до общества в целом, что отмечают многие современные авторы:

...Настоящее... претендует на исторический статус, стремится выглядеть уже прошедшим, если угодно, оборачивается на себя самое, предвосхищая тот взгляд, которым будут на него смотреть, когда оно полностью завершится, — как если бы оно хотело «предвидеть» прошлое и само стать прошлым еще до того, как оно истекло в качестве настоящего⁹⁰.

...Настоящее, знающее, подобно нашему, что оно в качестве будущего прошлого станет в будущем объектом исторического сознания, прецептивно организует также и самопередачу будущему, ориентируясь на предположительную рецепцию прошлого в будущем⁹¹.

В результате историки наделяются (или сами наделяют себя) своеобразной социальной миссией и ответственностью за отбор, сортировку и «упаковку» подлежащего сохранению (запоминанию) материала. В этом

⁸⁹ Подр. см.: Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. В 2-х т. Т. 1. Конструирование прошлого. СПб.: Наука, 2003. Гл. 8.

⁹⁰ Артог Ф. Время и история: «Как писать историю Франции?» [1995] // «Анналы» на рубеже веков: Антология / Сост. А.Я. Гуревич, С.И. Лучицкая. Пер. с фр. М.: «XXI век — согласие», 2002. С. 155.

⁹¹ Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем [1992] // Вопросы философии, 1994. № 4. С. 103.

случае обсуждение текущей «политики памяти» оказывается современной модификацией традиционной «политики увековечивания», но на более демократическом и глобальном уровне.

Оставляя в стороне идеологические и конъюнктурные факторы, попытаемся выделить содержательную составляющую проблемы «исторической памяти» в целом и «политики памяти» в частности.

Общество Нового времени, осознавшее собственную новизну и становление как модус своего бытия, нуждалось в опоре на общие правила и ценности и на общее прошлое. Конструирование этого прошлого заключалось в разных практиках: в организации документальной базы, в актуализации античного и средневекового наследия, в «изобретении традиций», в историософских конструкциях развития человечества, в возникающих партийно-политических интерпретациях истории, в организации массового исторического образования, монументальной пропаганде и т.д.

Лишь относительно недавно историки стали рассматривать все эти практики как элементы некоего общего процесса формирования представлений о прошлом, в том числе и на уровне массового сознания. Интерес к этой теме реализуется не только в попытках определить *содержание* социальных представлений о прошлом в разные исторические эпохи, но и в стремлении выявить *механизм* их формирования. Наиболее доступной для анализа оказалась политическая (точнее, властная) составляющая этого механизма. Именно поэтому «политика памяти» выглядит самой разработанной в исторических работах, ориентированных на проблематику «исторической памяти».

Таким образом, изучение «политики памяти», помимо бесконечных возможностей для анализа конкретных сюжетов, создает предпосылки для ответа на более общий теоретический вопрос: как создаются социальные представления о прошлом и формируются национальные символы?

В первую очередь эта тема связана с изучением роли политического проекта и, соответственно, заказа по формированию и закреплению достаточно конкретных знаний о прошлом, задающих определенные социально-политические цели и ценности. «Историческая память» в контексте «политики памяти» трактуется прежде всего как функция власти, определяющей *как* следует представлять прошлое. Поэтому востребованность такого понятия, как «политика памяти» отражает и смену интересов в предметной области, в результате которой целый ряд историков переключился с изучения идеологически насыщенных *текстов* на про-

пагандистские *образы и символы*, с политической истории — на культурную политику.

Переходя к краткому обзору основных направлений исследований «политики памяти», отметим, что конструирование социальной реальности включает в качестве необходимой составляющей установление отношений с определенными событиями прошлого, которые намеренно «не запоминаются» или, наоборот, «запоминаются» и фиксируются в социальном запасе знания. Власть определяет, какое прошлое достойно сохранения, а какое — забвения. Тем самым «политика памяти» распадается на два взаимосвязанных блока: «политика запоминания» и «политика забвения». Основным (но отнюдь не единственным) объектом изучения здесь, естественно, является государство.

Первым каналом государственного влияния на облик исторического знания была причастность власти к самому процессу *историописания*. Иногда оно принимало форму прямого вмешательства в содержание исторического знания (официальной историографии). Во Франции при Наполеоне I исторические сочинения курировало Министерство внутренних дел и полиции! Историки рассматривались как государственные служащие. Наполеон, в частности, настаивал на том, что работа по созданию истории Франции должна быть поручена не просто талантливым людям, но людям, которым можно *доверять*, подразумевая под этим, что они *в верном свете* покажут события вплоть до 8-го года⁹².

Такая практика в еще более жестких формах была воспроизведена в тоталитарных государствах XX в., где исторические исследования были поставлены под жесткий государственный (партийный) контроль. Власти не церемонились ни с прошлым, ни с теми, кто его изучал. Так, в России «после Октябрьского переворота происходит не только национализация средств производства, национализируются все области жизни. И прежде всего — память, история»⁹³. В результате в СССР исторические дискуссии, будь то обсуждение роли норманнов в образовании Руси или вопрос о степени прогрессивности Ивана Грозного или Петра I, носили государственный характер и оценивались по шкале соответствия идеалам социалистического патриотизма.

⁹² Gooch G.P. History and Historians in the Nineteenth Century. L.; N.Y.; Toronto: Longmans, Green and Co., 1928 [1913]. P. 159.

⁹³ Геллер М., Некрич А. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. В 3-х т. М.: МИК, 1995. Т. 1. С. 7.

Но государство влияет на историческую науку и в демократических странах. Например, в ФРГ в 1950-е гг. официальная «политика» памяти состояла в замалчивании недавней истории. Актуальной темой было *немецкое страдание*, а в роли жертв выступали «изгнанники», немцы, переселенные с территорий их прежнего проживания в Польше, Богемии, Восточной Пруссии. Но уже в 1960-е гг. появляются исследования о преступлениях нацизма, а тема немецкого страдания становится табуированной (по принципу иерархии страданий, которые причинили немцы другим народам)⁹⁴.

Важнейшей областью приложения усилий по формированию государственной «политики памяти» стала утверждающаяся с XIX в. система массового, а затем и обязательного *школьного образования*. Познавательная функция — лишь одна из культурно-политических функций истории, которые активизируются в школе. В процессе обучения познавательные аспекты тесно переплетаются с другими функциями истории: воспитания (например, патриотизма) и идентификации (например, национальной). Рискнем утверждать, что познавательные цели даже подчинены гражданственным (в широком смысле), ибо в новоевропейском проекте народного образования на первом плане стоит формирование национальной общности и привязанности к своему прошлому. Для решения этой задачи в XIX в. в развитых странах формируются институты, регламентирующие и контролирующие содержание учебников по истории и практику преподавания этого предмета.

Исторические факты в школьном образовании используют как материал для воспитательных и нравственных уроков. В разработанной в конце XVIII в. Б. Франклином школьной программе говорилось:

Давая пояснения по истории, учитель имеет замечательную возможность исподволь делать всякого рода наставления и совершенствовать как нравственность, так и разум молодежи⁹⁵.

В России существует устойчивая традиция непосредственного вмешательства первых лиц государства в содержание учебников истории. Создание учебников по истории СССР и всеобщей истории находилось

⁹⁴ Марголина С. Конец прекрасной эпохи. О немецком опыте осмысления национал-социалистической истории и его пределах // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2002. № 2 (22). С. 36–44.

⁹⁵ Франклин Б. Очерк об английской школе [б. г.] // Франклин Б. Избранные произведения. Пер. с англ. М.: Госполитиздат, 1956. С. 575–576.

под прямым контролем И. Сталина (см. «Учебник по истории СССР», утвержденный в 1936 г.)⁹⁶. Партийный контроль над содержанием учебников по истории сохранялся и все последующие годы советской власти. После XX съезда КПСС в связи с необходимостью внести некоторые изменения в учебники истории в 1959 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О некоторых изменениях преподавания истории в школе». Как пишет В. Есаков, подготовка учебника «История СССР», который вышел в 1962 г., «вела под неусыпным контролем Отдела школ ЦК КПСС»⁹⁷. Практически каждое его переиздание сопровождалось необходимой доработкой и совершенствованием в связи с политическими метаморфозами. На подготовку следующего учебника, начатую в 1975 г., со всеми полагающимися обсуждениями и согласованиями ушло 10 лет. Его третье издание пришлось на разгар перестройки и в итоге так и не состоялось.

Далее мы были свидетелями десятилетнего периода отсутствия действенного контроля над содержанием учебников истории и крайнего идеологического разнообразия в этой области. Однако традиция восстановления. В России начала нашего века школьные учебники по истории обсуждаются на заседаниях правительства и являются предметом пристального внимания со стороны президента и его администрации.

Формирование национального исторического сознания прямо зависит и от общей *культурной политики* государства. Воздвигая памятники и триумфальные арки, охраняя художественные ценности прошлого, запечатлевая важные исторические события и имена национальных героев в названиях улиц и площадей, поддерживая фольклорные ансамбли или определенные направления в искусстве, государство действует более чем целенаправленно.

В этой области уже проведено множество интересных исследований, авторы которых опираются на самые разнообразные материалы. В качестве

⁹⁶ Советские учебники истории опирались на традицию, основы которой были заложены в документах второй половины 1930-х гг., известных как «Постановления партии и правительства о школьном историческом образовании». В 1937 г. эти документы были собраны вместе в сборнике «К изучению истории» и им было предпослано известное письмо И. Сталина 1931 г. в редакцию «Пролетарской революции» (подробнее см.: Бухараев В. Что такое наш учебник истории. Идеология и назидание в языке и образе учебных текстов // Историки читают учебники истории / Ред. К. Аймермахер, Г. Бордюгов. М.: АИРО-XX, 2002. С. 13–46.

⁹⁷ Есаков В. Между социальным заказом и профессиональной историографией // Историки читают учебники истории / Ред. К. Аймермахер, Г. Бордюгов. М.: АИРО-XX, 2002. С. 49.

примера можно привести работу Н. Шляйфман, проанализировавшей методички для экскурсоводов в музеях — официально утвержденные руководства по организации постоянной экспозиции⁹⁸. На примере музея г. Можайска автор прослеживает, как в этих методичках отражались изменения политических установок. Еще в 1990 г. инструкция по организации исторической экспозиции музея предписывала:

1. На материалах историко-краеведческого музея г. Можайска показать историю Можайского края как часть истории страны;
2. Раскрыть бессмертный подвиг русского народа-воина и создателя на протяжении XIII—XX веков;
3. Подчеркнуть преемственную связь русского и советского народов;
4. Показать, что партия и государство проявляют неустанную заботу о сохранении памятников героического прошлого нашей Родины;
5. Воспитывать у экскурсантов чувства национальной гордости, патриотизма, ответственности перед памятью прошлого⁹⁹.

После развала СССР экспозиция закрылась, а в 1993 г. в *новом* здании музея, в *церкви* Петра и Павла, открылась новая. Естественно, не обошлось и без новой методички, предлагающей

знакомить посетителей с памятниками культуры земли можайской; привить интерес к изучению прошлого своего края, научить бережному отношению к памятникам истории и культуры.

Но при этом экскурсоводам рекомендовалось уже при входе

объяснять, насколько подходит для музея это здание, ...а потом перейти к описанию жизни и смерти Иисуса Назаря, царя Иудейского, у большого, написанного маслом на дереве, Распятия XIX в.¹⁰⁰

В результате, как отмечает Н. Шляйфман, развалины церквей и монастырей, которых в Можайске предостаточно, «превратились как в свидетельство преступлений советского режима, так и в эмоциональный фокус общероссийской солидарности»¹⁰¹.

⁹⁸ Шляйфман Н. История и память: проблема соотношения прошлого и настоящего на примере Можайска // Крайности истории и крайности историков. Сб. статей к 60-летию проф. А. Ненарокова / Ред. А.И. Ушаков и др. М.: РНИСиНП, 1997. С. 174–187.

⁹⁹ Цит. по: Шляйфман Н. История и память: проблема соотношения прошлого и настоящего на примере Можайска // Крайности истории и крайности историков. С. 175–176.

¹⁰⁰ Цит. по: Шляйфман Н. История и память: проблема соотношения прошлого и настоящего на примере Можайска // Крайности истории и крайности историков. С. 178.

Существенным компонентом «политики памяти» является и «*политика забвения*». Власть, направленная на уничтожение «памяти», может быть столь же продуктивной, как и власть, направленная на ее создание. Практика такого рода возникает уже в глубокой древности. Например, в Древнем Риме сенат для борьбы с тиранией императоров практиковал изъятие имени негодного императора из архивных документов и с надписей на памятниках (*Damnatio memoriae*). В свою очередь император Август приказывал сжигать неудобные ему исторические произведения (Тита Лабиена, Кремуция, Корда и др.). Костры из книг жгли средневековые инквизиторы, жгли при Лютере и после изгнания Наполеона из Германии¹⁰². В фашистском Рейхе сжигание книг, как и многое другое, выступало как отрицание прошлого.

Сознательное уничтожение памятников, надписей, религиозных реликвий, книг и т.д. проходит через всю историю цивилизации. Но были периоды, когда способы уничтожения информации о прошлом отличались особой изощренностью. Один из самых показательных в этом смысле примеров (впрочем, как и в смысле заботы об «историзации настоящего») — Великая французская революция. Из чувства революционного долга, повелевающего искоренять феодальные следы во всей республике и, наверное, из страха перед революционерами, гражданами было совершенно много «славных дел» по уничтожению всего, что напоминало о Старом режиме (см. Вставку 2).

Вставка 2. «Революционный невроз»

«...Ничто, напоминающее феодализм, не должно было существовать; от него не должно было остаться в настоящем ни малейшего следа. Все, что вызывало воспоминания о прошлом, даже на табакерках, бонбоньерках, медалях, пуговицах и т. д. — было обречено на уничтожение... Знаменитый ученый, член упраздненной революцией Французской академии, потребовал уничтожения королевских гербов на переплетах Национальной библиотеки. И когда ему заметили, что подобная операция обойдется не менее 4-х миллионов, то Лагарп, — так как это был именно он, — с легким сердцем отвечал: “Можно ли говорить о каких-то 4-х миллионах, когда речь идет об истинно республиканском деле?”

¹⁰¹ Шляйфман Н. История и память: проблема соотношения прошлого и настоящего на примере Можайска // Крайности истории и крайности историков. С. 180.

¹⁰² *Die Bucherverbrennung*. 10. Mai. 1933 / Hrsg. G. Sauder. Frankfurt a. M., etc.: Ullstein Verlag, 1985. S. 35.

Когда феодальный строй был разрушен в его эмблемах и изображениях, тогда понадобилось изгнать его и из географических названий... Парижские секции начинают чуть не каждый день обращаться к Генеральному совету с просьбами о переименовании их улиц... В 1793 и 1794 гг. Конвент дал также некоторым городам в наказание за недостаточно современный образ мыслей позорные наименования. В числе их Тулон и Лион лишились своих старинных, освященных веками названий.

...Некоторые муниципалитеты издали следующее постановление: “Всякий носящий имя, заимствованное от тирании или феодализма, например: Леруа (le roi — король), Ламперёр (l’Empereur — император), Леконт (le Comte — граф), Шевалье (Chevalie — рыцарь) и т.п... должен немедленно оставить такое, если он не желает прослыть за «подозрительного»”...

Падение монархического режима должно было, при тогдашнем настроении, необходимо повлечь за собою изменения даже в фигурах игральных карт, так как короли, дамы или королевы и валеты, казалось, слишком напоминали тот былой строй, который было необходимо искоренить до последней черты. Сообразно этому было решено заменить: королей — мудрецами, дам — добродетелями и валетов — героями...

“Может ли быть дозволено французам играть впредь в шахматы”? Такой вопрос пресерьезно в течение нескольких заседаний обсуждался на специальном митинге — сходке “добрых республиканцев” и, “как следовало ожидать, — пишет современник, — был разрешен в совершенно отрицательном смысле”... Но затем выступил, однако, другой вопрос: “Нельзя ли демократизировать эту единственную, действительно изошряющую мозг игру? Нельзя ли, исключив из нее названия и формы, в вечной ненависти коим мы все клялись, сохранить лишь остроумные и образцовые комбинации, ей одной присущие...?”¹⁰³

В литературе по истории Октябрьской революции и послереволюционному периоду можно было бы насобирать не менее курьезные случаи «отмены» прошлого, хотя кажется, что в России все же не было проявлено такого рвения к тотальному уничтожению следов прошлого (за исключением переименования улиц и частично — городов, а также сноса некоторых памятников). В целом же можно предположить, что осуществление сознательной «политики забвения» особенно характерно для революционеров. Это вполне согласуется с особенностями их темпоральных представлений.

¹⁰³ Кабанес О., Насс Л. Революционный невроз [1905] // Революционный невроз. Пер. с фр. М.: Институт психологии РАН; Изд-во КСП+, 1998. С. 394, 388, 406, 413, 434, 416, 418.

К проблематике «политики памяти» примыкает и тема *традиции* в современном обществе. Согласно самому общему определению,

Традиции — социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. Традиции включают в себя **объекты** социокультурного наследия (материальные и духовные ценности); **процессы** социокультурного наследования; **способы** этого наследования. В качестве традиции выступают определенные культурные образцы, институты, нормы, ценности, идеи, обычаи, обряды, стили и т. д.¹⁰⁴

В римском праве термин *traditio* обозначал способ передачи прав владения частной собственностью¹⁰⁵. Идея традиции в сегодняшнем смысле этого слова — порождение Нового времени. Рационализм Просвещения отождествлял традицию с невежеством и догмами. Характерное для идеологии Просвещения стремление покончить со старым обществом в ходе Французской революции привело к сознательным усилиям по истреблению старых традиций, но тогда же с не меньшим рвением стали насаждаться новые.

XIX в., не в пример предшествующему столетию, характеризовался огромным интересом к традиции, роль которой была переосмыслена в связи с задачами формирования национального самосознания. Романтический национализм искал корни в фольклоре и народных диалектах. В XIX столетии сторонники восстановления традиций поддерживали и даже возрождали образы, создающие иллюзию исторической преемственности, тогда как на самом деле связи с прошлым исчезали. Большая часть работ XIX в. по литературе, праву и истории касалась воспроизведения (и тем самым возвращения в настоящее) отдельных традиций, особенно тех, что были связаны с истоками и становлением современного государства-нации. Интеллектуальная и политическая практика XIX в., ориентированная на изучение и поддержание традиции, ограничивалась ее определенными формами. Это, в основном — фольклор, сказки, мифы и легенды, устное творчество, обычное право, религиозные и светские церемонии и ритуалы. При этом традиция рассматривалась прежде всего как культура малообразованных страт.

Однако уже в первой половине XX в. традиция начинает интерпретироваться как интегральная часть социального порядка, который придает

¹⁰⁴ Культурология. XX век. Энциклопедия / Сост. С.Я. Левит. В 2-х т. СПб.: Университетская книга, 1998. Т. 2. С. 265.

¹⁰⁵ Shils E. Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1981. P. 16.

смысл человеческому существованию (Ф. Теннис, Г. Зиммель, О. Шпенглер, М. Шелер, А. Бергсон, Т. Элиот, Г. Адамс, Л. Мамфорд)¹⁰⁶. М. Хальбвакс различал память и традицию как переход живого воспоминания (*memoire vecue*) в две различные формы письменной фиксации, которые он называл «история» и «традиция»¹⁰⁷. В современной традиции он видел интенцию восстановить неразрывную связь с прошлым, соединенную с пониманием нужд настоящего времени, и социальный контекст, в котором «политика памяти» насаждает или разрушает традицию.

Наконец, в современных исследованиях утверждается идея «изобретения» древних традиций с конца XVIII в. Суть ее сводится к тому, что для формирования национальной идентичности потребовалось знание о прошлом, а внедрить такое знание в массы и тем самым установить связь с прошлым помогали активно возрождавшиеся к жизни или даже изобретаемые традиции. Яркие примеры массового производства традиций в Европе были представлены в хорошо известном исследовании «Изобретение традиции» (1983) под редакцией Э. Хобсбаума и Т. Рэнджера¹⁰⁸. В статьях, собранных в этой книге, показано, что очень многие национальные символы, которые считаются древними, на самом деле возникли в Новое время.

Например, как продемонстрировал Х. Тревор-Ропер, клетчатая шотландская юбка-кильт, которую сегодня в Шотландии мужчины надевают по национальным праздникам, была придумана в 1730-е гг. неким Т. Роулинсоном, английским промышленником из Ланкашира¹⁰⁹. Традиционной одеждой шотландских горцев (хайлендеров) была подпоясанная накидка-плед, при этом подавляющее большинство шотландцев, живших на равнинах, считали эту одежду варварской. Роулинсон, который открыл в 1727 г. в одном из районов Шотландии, где имелись залежи угля, металлургическую фабрику, решил сделать традиционную одежду удобной для фабричного труда и тем самым привлечь местных горцев на свое предприятие. Он отделил нижнюю часть пледа от верхней, превратив ее в запахи-

¹⁰⁶ См.: *Shils E.* Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1981. P. 18–19.

¹⁰⁷ Цит. по: *Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992]. С. 68.

¹⁰⁸ *The Invention of Tradition* / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

¹⁰⁹ См.: *Trevor-Roper H.* The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland // *The Invention of Tradition* / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 15–42.

вающуюся юбку, которую начал носить сам, подавая пример мужскому населению округа. А узоры, по которым якобы определялась клановая принадлежность, и вовсе были разработаны портными Викторианской эпохи. Эта юбка была плодом промышленной революции, а не многовековой старины!

Даже действительно древние традиции Европы, воскрешенные в XIX в., были новыми в том смысле, что они использовались для решения задач формирования нации. Например, в Швейцарии, где отсутствовали такие «объективные» основания для создания национального единства, как язык и религия, акцент был сделан на свободолюбии и демократичности древних «швейцарцев» (гельветов). Соответственно были оформлены и ритуализированы традиционные практики, состязания в стрельбе из лука и народное пение¹¹⁰.

По определению Э. Хобсбаума,

«Изобретенная традиция» означает совокупность практик, как правило, ограниченных открыто или молчаливо признанными правилами ритуального и символического характера, направленных на привитие определенных ценностей и норм поведения путем повторения, которое автоматически подразумевает преемственность с прошлым¹¹¹.

Изобретенные традиции отличаются от обычаев (*custom*), установленных правил (*convention*) или общепринятых практик (*routine*). Традиции — неважно старые или новые — инвариантны; прошлое, к которому они обращаются, диктует неизменные модели. Обычай — более гибок¹¹². Установленные правила также являются инвариантами, но они приспособлены для практических нужд и изменяются или отменяются, когда изменяются эти нужды.

Очевидно, что даже радикальное отрицание прошлого нуждается в «изобретении традиции». Например, большевизм апеллировал к революционной и даже к демократической традиции, нацизм — к национально-романтической традиции, и т.д. События прошлого посредством традиции

¹¹⁰ *Hobsbawm E.* Introduction: Inventing Traditions // *The Invention of Tradition* / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 6–7.

¹¹¹ *Ibid.* P. 1–2.

¹¹² «Обычай — это то, чем занимаются судьи; “традиция” (в данном случае изобретенная традиция) — это парик, мантия и другие внешние атрибуты и ритуализированные практики, окружающие их основную деятельность» (*Hobsbawm E.* Introduction: Inventing Traditions // *The Invention of Tradition* / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 2–3).

включаются в обстановку настоящего, и тем самым для традиции существенной признается актуальность, связь с настоящим. При таком «затмении» чувства времени возникает скорее эмоциональная связь с прошлым, чем критический взгляд на него.

Даже если традиции постоянно подвергаются ревизии в интересах настоящего, они, как заметил М. Хальбвакс, создают иллюзию вневременности. В этом смысле традиция а-исторична. В ней стирается прошлое как *Другое* время. Но в сегодняшнем динамичном обществе даже «изобретенная», т.е. определяемая настоящим, традиция перестает работать, и ей на смену приходит социально детерминированная «историческая память», а-историчная в еще большей степени, чем традиция.

ПРЕПРИНТЫ ИГИТИ ГУ ВШЭ

Серия WP6 «Гуманитарные исследования ИГИТИ»

1. Савельева И.М., Полетаев А.В. Функции истории. Препринт WP6/2003/01. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
2. Дубин Б.В. Семантика, риторика и социальные функции «прошлого»: к социологии советского и постсоветского исторического романа. Препринт WP6/2003/02. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
3. Руткевич А.М. Психоаналитическое учение о символе и интерпретации. Препринт WP6/2003/03. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
4. Андреев М.Л. Второе рождение нормативной поэтики. Препринт WP6/2003/04. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
5. Самутина Н.В. Современное европейское кино и идея культуры («прошлого»). Препринт WP6/2003/05. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
6. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и интуиция: наследие романтиков. Препринт WP6/2003/06. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
7. Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
8. Никс Н.Н. «Велик и благороден труд профессора» (Жизнь и деятельность московской профессуры второй половины XIX — начала XX вв.). Препринт WP6/2004/01. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
9. Юревич А.В. Социогуманитарная наука в современной России: адаптация к социальному контексту. Препринт WP6/2004/02. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
10. Андреев М.Л. Формы прошлого в классической европейской литературе. Препринт WP6/2004/03. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
11. Фрумкина Р.М. Психоллингвистика: что мы делаем, когда говорим и думаем. Препринт WP6/2004/04. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
12. Филиппов А.Ф. Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода. Препринт WP6/2004/05. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
13. Руткевич А.М. Психоанализ и доктрина «исторической памяти». Препринт WP6/2004/06. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

Препринт WP6/2004/07
Серия WP6
Гуманитарные исследования ИГИТИ

Редактор серии *И.М. Савельева*

Ирина Максимовна Савельева
Андрей Владимирович Полетаев

**СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ:
ТИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ**

Публикуется в авторской редакции

Зав. редакцией *Е.В. Попова*
Редактор *А.В. Заиченко*
Технический редактор *Е.В. Попова*

ЛР № 020832 от 15 октября 1993 г.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Тираж 150 экз. Уч.-изд. л. 3,31. Усл. печ. л. 3,26. Заказ № 294. Изд. № 457.

ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3
Типография ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3